This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

+ *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
+ *Refrain from automated querying* Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
+ *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
+ *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at `http://books.google.com/`

Google

Это цифровая коиия книги, хранящейся для иотомков на библиотечных иолках, ирежде чем ее отсканировали сотрудники комиании Google в рамках ироекта, цель которого - сделать книги со всего мира достуиными через Интернет.

Прошло достаточно много времени для того, чтобы срок действия авторских ирав на эту книгу истек, и она иерешла в свободный достуи. Книга иереходит в свободный достуи, если на нее не были иоданы авторские ирава или срок действия авторских ирав истек. Переход книги в свободный достуи в разных странах осуществляется ио-разному. Книги, иерешедшие в свободный достуи, это наш ключ к ирошлому, к богатствам истории и культуры, а также к знаниям, которые часто трудно найти.

В этом файле сохранятся все иометки, иримечания и другие заииси, существующие в оригинальном издании, как наиоминание о том долгом иути, который книга ирошла от издателя до библиотеки и в конечном итоге до Вас.

Правила использовапия

Комиания Google гордится тем, что сотрудничает с библиотеками, чтобы иеревести книги, иерешедшие в свободный достуи, в цифровой формат и сделать их широкодостуиными. Книги, иерешедшие в свободный достуи, иринадлежат обществу, а мы лишь хранители этого достояния. Тем не менее, эти книги достаточно дорого стоят, иоэтому, чтобы и в дальнейшем иредоставлять этот ресурс, мы иредириняли некоторые действия, иредотвращающие коммерческое исиользование книг, в том числе установив технические ограничения на автоматические заиросы.

Мы также иросим Вас о следующем.

- Не исиользуйте файлы в коммерческих целях.
  Мы разработали ирограмму Поиск книг Google для всех иользователей, иоэтому исиользуйте эти файлы только в личных, некоммерческих целях.

- Не отиравляйте автоматические заиросы.
  Не отиравляйте в систему Google автоматические заиросы любого вида. Если Вы занимаетесь изучением систем машинного иеревода, оитического расиознавания символов или других областей, где достуи к большому количеству текста может оказаться иолезным, свяжитесь с нами. Для этих целей мы рекомендуем исиользовать материалы, иерешедшие в свободный достуи.

- Не удаляйте атрибуты Google.
  В каждом файле есть "водяной знак" Google. Он иозволяет иользователям узнать об этом ироекте и иомогает им найти доиолнительные материалы ири иомощи ирограммы Поиск книг Google. Не удаляйте его.

- Делайте это законно.
  Независимо от того, что Вы исиользуйте, не забудьте ироверить законность своих действий, за которые Вы несете иолную ответственность. Не думайте, что если книга иерешла в свободный достуи в США, то ее на этом основании могут исиользовать читатели из других стран. Условия для иерехода книги в свободный достуи в разных странах различны, иоэтому нет единых иравил, иозволяющих оиределить, можно ли в оиределенном случае исиользовать оиределенную книгу. Не думайте, что если книга иоявилась в Поиске книг Google, то ее можно исиользовать как угодно и где угодно. Наказание за нарушение авторских ирав может быть очень серьезным.

О программе Поиск кпиг Google

Миссия Google состоит в том, чтобы организовать мировую информацию и сделать ее всесторонне достуиной и иолезной. Программа Поиск книг Google иомогает иользователям найти книги со всего мира, а авторам и издателям - новых читателей. Полнотекстовый иоиск ио этой книге можно выиолнить на странице `http://books.google.com/`

LELAND STANFORD JUNIOR UNIVERSITY
ORGANIZED 1891
STANFORD UNIVERSITY LIBRARIES

Leont'ev, I. K.

ИВАНЪ ЩЕГЛОВЪ

НОВОЕ О ПУШКИНѢ.

ПУШКИНСКІЕ ДНИ ВЪ ПРОВИНЦІИ. — ПИСЬМА КРЕСТЬЯНЪ О ПУШКИНѢ.—БЕСѢДА СО СТАРУХОЙ, ЗНАВШЕЙ ПУШКИНА.—ОРИГИНАЛЬНЫЯ ДОРОЖНЫЯ ВСТРѢЧИ. — ДОМЪ, ГДѢ СКОНЧАЛАСЬ НЯНЯ ПУШКИНА. — НА МОГИЛѢ ЖЕНЫ ПОЭТА.—ИСТИННЫЙ ИСТОЧНИКЪ „КАМЕННАГО ГОСТЯ“.—СЪ КОГО СПИСАНА ФИГУРА „САЛЬЕРИ“. — ПУШКИНЪ И БОРАТЫНСКІЙ.—О ПУШКИНСКИХЪ УГОЛКАХЪ И ПУШКИНСКОМЪ МУЗЕѢ.

—

ПРИМѢЧАНІЯ.

С.-ПЕТЕРБУРГЪ.
Изданіе Спб. Т-ва Печатнаго и Издат. дѣла „Трудъ“.
1902.

Ke

PG3350
Z8L4

Типографія Спб. Т-ва Печ. и Изд. дѣла „Трудъ“. Фонтанка, 86.

Посвящается

Илье Ефимовичу

Рѣпину.

Отъ Автора.

Пушкинскій праздникъ, озарившій майскіе дни 1899 года, совершенно выбилъ меня изъ моей обычной беллетристической колеи, невольно поглотивъ личные заботы и интересы и заставивъ сосредоточить исключительное вниманіе около магическаго имени Пушкина.

Такъ какъ результатъ означенной юбилейной черезполосицы—предлагаемыя ниже „дорожныя впечатлѣнія и кабинетныя замѣтки“ сосредоточились, по преимуществу, на мотивахъ и подробностяхъ, мало или совсѣмъ не затронутыхъ присяжными пушкиніанцами, то я и позволилъ себѣ озаглавить настоящій трудъ мой **„Новое о Пушкинѣ“**, дабы нѣсколько отдѣлить попытку живого изслѣдованія отъ легіона общихъ книжныхъ разсужденій, выпущенныхъ въ свое время подъ тѣмъ-же юбилейнымъ флагомъ.

Иванъ Щегловъ.

С.-Петербургъ
Май 1901 года.

Новое о Пушкинѣ.

(Дорожныя впечатлѣнія и кабинетныя замѣтки).

ПУШКИНСКІЕ ДНИ ВЪ ПРОВИНЦІИ.

(ПУТЕВЫЯ ЗАМѢТКИ).

Г. Кинешма, Костромской губ. 25—27 мая 1899 года.

I.

Знаете-ли вы, почему я очутился наканунѣ Пушкинскаго юбилея въ городѣ Кинешмѣ? Признаюсь, мнѣ хотѣлось убѣдиться воочію какъ и въ какой степени отразится въ далекомъ углу провинціи такое величественное событіе, какъ столѣтіе со дня рожденія величайшаго поэта земли русской.

Конечно, перспектива быть ближайшимъ участникомъ Пушкинскихъ торжествъ на Страстномъ бульварѣ или въ стѣнахъ родного Петербурга была довольна таки заманчива...

„Въ столицахъ шумъ, гремятъ витіи...
А тамъ, въ глубинѣ Россіи...“

Да, что-то тамъ „во глубинѣ“, неотступно думалось мнѣ, когда холоднымъ, дождливымъ утромъ поѣздъ Шуйско-Ивановской желѣзной дороги подходилъ къ станціи „Кинешма“...

Остановился я въ центрѣ города, близъ пароходныхъ пристаней, въ свѣтлыхъ и чистенькихъ

номерахъ Григорія Расторгуева и, основательно выспавшись, выползъ на городской бульваръ...

Кинешемскій бульваръ, какъ всѣ приволжскіе бульвары, красивъ самъ по себѣ, то есть однимъ своимъ положеніемъ на возвышенномъ берегу Волги, открывая черезъ рѣку вашему глазу великолѣпнѣйшую панораму... Обсаженъ бульваръ, впрочемъ, довольно скупо, а украшенъ и того менѣе: на одномъ концѣ — неказистый павильонъ для продажи прохладительныхъ напитковъ и прикрытія на случай дождя; а на другомъ—маленькая полукруглая будка, окрашенная въ розовый цвѣтъ, для гг. музыкантовъ. Въ будкѣ, вмѣсто музыкантовъ, чинно засѣдаетъ нѣмецкое семейство Шварцъ и усердно дуетъ въ мѣдныя трубы. Но, такъ какъ резонансъ на рѣкѣ Волгѣ черезчуръ великъ, а дуденіе семейства Шварцъ постоянно перемѣшивается съ гуденіемъ пароходовъ Самолета, Зевеке и Зарубина, то воспитательное вліяніе нѣмецкой музыки на Кинешемскихъ обывателей слѣдуетъ признать довольно ничтожнымъ (оркестръ, впрочемъ, изъ цѣлыхъ шести человѣкъ — папаши, мамаши и дѣтей—и даже изъ семи, если удобно признать за человѣка малолѣтняго Шварца, музицирующаго на барабанѣ).

На этотъ разъ, вслѣдствіе пасмурной погоды, публики было совсѣмъ мало, да и эта малость бродила какъ-то особенно уныло по единственной аллеѣ бульвара... Такъ или иначе, надо было все-таки навести хоть какія нибудь справки о предстоящемъ юбилеѣ. Я рѣшился начать снизу, т. е. съ простого народа, и обратился къ добродушному вихрастому парню, въ розовой косовороткѣ, задум-

чиво глядѣвшему на Волгу и медленно сплевывавшему сѣмячки подсолнечника. При имени Пушкина, парень въ розовой косовороткѣ не то полуиспуганно, не то полувраждебно оглядѣлъ меня и, равнодушно процѣдивъ: „Намъ невѣдомо!"—снова сталъ смотрѣть на Волгу и плевать сѣмячками... Такъ я ни съ чѣмъ и отъѣхалъ. Приходилось, волей-неволей, обратиться къ интеллигенціи. Около лимонаднаго павильона я запримѣтилъ группу маленькихъ гимназистиковъ, о чемъ то оживленно спорящихъ. Я подошелъ и прислушался. Три малыша съ кокардами на фуражкахъ нападали на четвертаго, у котораго не было кокарды, и горячо доказывали, что гимназисты, гуляющіе на бульварѣ, должны быть обязательно при кокардѣ и въ перчаткахъ. Я намѣтилъ наиболѣе бойкаго и франтоватаго мальчугана и обратился къ нему съ вопросомъ: „будетъ ли, между прочимъ, завтра въ городѣ Кинешмѣ панихида по Пушкинѣ или не будетъ?"

— Нѣтъ, не будетъ,—бойко отрѣзалъ мальчуганъ:—московскій архіерей запретилъ пѣть панихиду по Пушкинѣ!.. По глазамъ остальныхъ малышей видно было, что они всѣ слыхали о Пушкинѣ и были одинаковаго мнѣнія на счетъ панихиды.

— Откуда же вы это знаете, что запретилъ?

— А это мой папаша мнѣ говорилъ, онъ навѣрно знаетъ! Онъ говорилъ, что никакъ нельзя, потому что Пушкинъ былъ столовѣръ, что ли, или Богъ знаетъ что еще!

Такъ какъ, при всѣхъ усиліяхъ, мнѣ не удалось пошатнуть авторитета Кинешемскаго папаши, то я рѣшилъ обратиться, по второму разу, къ бо-

лѣе зрѣлому возрасту и дерзнулъ остановить на противоположной сторонѣ аллеи высокаго смуглаго юношу, тоже въ гимназической фуражкѣ, готовившагося осѣдлать великолѣпный велосипедъ.

— Вы не знаете, будетъ ли завтра въ городѣ панихида по Пушкинѣ или нѣтъ?

— Вѣроятно будетъ! любезно, но почти на лету, отвѣтствовалъ мнѣ высокій юноша, и стремглавъ помчался по стогнамъ Кинешмы нивѣсть по какому неотложному дѣлу.

Въ третій разъ я уже заблагоразсудилъ обратиться все съ тѣмъ же надоѣдливымъ вопросомъ къ мужу среднихъ лѣтъ, въ форменномъ пальто и золотыхъ очкахъ, важно возсѣдавшему на скамейкѣ, въ сосѣдствѣ съ дамой въ модной шляпкѣ.

— О, конечно, панихида будетъ! наконецъ успокоилъ меня кинешемскій чиновникъ.

— Виноватъ: гдѣ и въ какомъ часу?

Кинешемскій чиновникъ на минуту задумался.

— Надо полагать, что въ соборѣ, послѣ обѣдни!..

Такъ, въ сопровожденіи утѣшительныхъ „вѣроятно“ и, „надо полагать“, я и покинулъ бульваръ, отправившись искать истину въ самомъ городѣ. Не найдя никакихъ свѣдѣній по части пушкинскаго юбилея у интеллигентныхъ сыновъ, я естественнымъ образомъ сталъ ихъ искать у фонарныхъ столбовъ—этихъ двойныхъ и, до сихъ поръ, чуть ли не единственныхъ просвѣтителей большинства провинціальныхъ городовъ...

Дѣйствительно, на одномъ изъ столбовъ вижу свѣжо-налѣпленное объявленіе—подхожу, и не безъ волненія читаю:

Городъ КИНЕШМА.
Кинешемскій Музыкально-Драматическій Кружокъ

Въ среду 26-го мая 1899 года
Въ день столѣтія со дня рожденія
поэта
А. С. ПУШКИНА
Въ городскомъ театрѣ имени А. Н. Островскаго
ЧТЕНІЕ
съ туманными картинами
Начало въ 1 часъ дня.
Безплатно.

Слава Богу, наконецъ-то! Значитъ, все-таки я не даромъ заѣхалъ такую даль... Я ожилъ духомъ и не безъ апетита поужиналъ въ сосѣдней съ бульваромъ гостинницѣ „Россія", единственная въ городѣ, гдѣ кормятъ довольно сносно. Излишне говорить, что среди простонародной компаніи, заполнявшей помѣщеніе ресторана, не удалось подслушать ни единаго звука по поводу пушкинскаго юбилея. Въ комнатѣ, въ которой я ужиналъ, сидѣли за разными столами другъ противъ друга какіе то загорѣлые лѣсоторговцы. Приказчикъ одного лѣсоторговца крѣпко спалъ, положивъ голову на связку баранокъ, а другой только клевалъ носомъ, сохраняя строгое дѣловое выраженіе и держа подъ мышками огромную кумачевую подушку. Ихъ хозяева тѣмъ временемъ чайничали и переговаривались о своихъ дѣлахъ на томъ сцеціальномъ нарѣчіи, которое для меня, столичнаго обывателя, равнялось китайской грамотѣ. То и дѣло слышалось: „Ссыпной или гужевой?" — „30 или 41?"—„41".—„Не подойдетъ!"—„А у васъ по скольку?" — „Это секретъ Бойцова!" — „Анаѳема вашъ

Бойцовъ, вотъ что!..“ Діалогъ — нельзя сказать, чтобъ особенно привлекательный для ушей литератора, справлявшаго въ своемъ сердцѣ канунъ пушкинскаго юбилея!..

II.

Утромъ, на другой день, по первому трезвону колоколовъ отправляюсь въ Кинешемскій соборъ... Обѣдня, какъ обѣдня, и ничѣмъ особенно торжественнымъ не отличается, если не считать группы учениковъ городскихъ училищъ въ сѣрыхъ курткахъ, расположившихся подъ надзоромъ своихъ учителей на правой сторонѣ храма. Но вотъ обѣдня кончилась, перерывъ; ученики городскихъ училищъ переминаются на мѣстѣ, но не двигаются... „Надо полагать“, сейчасъ начнется панихида и „вѣроятно“, вмѣстѣ съ ней, съѣздъ въ соборъ кинешемской интеллигенціи... Панихида дѣйствительно начинается, но не только никакого съѣзда не происходитъ, а наоборотъ, при началѣ панихиды, храмъ пустѣетъ и молиться за „болярина Александра“ остаются одни мальчуганы въ сѣрыхъ курткахъ и кучка простонародья... Вяло, казенно-безчувственно, идетъ панихида по величайшему сыну своей родины, такъ много ее возлюбившему, и возгласы имени „болярина Александра“ откликаются въ опустѣломъ храмѣ глухо и какъ то болѣзненно-одиноко. Очевидно, мало кому здѣсь дѣла до „болярина Александра“... Усерднѣе всѣхъ молился какой то старый, престарый, бѣлый какъ лунь, мужичекъ, единственный во всемъ соборѣ преклоняющій ко-

лѣна во время провозглашенія вѣчной памяти „болярину Александру“. Хотя я отлично знаю, что русскій человѣкъ радъ всякому лишнему поводу помолиться или выпить за чужую христіанскую душу, но про всякій случай освѣдомляюсь у мужичка въ полголоса:

— Не знаешь ли, дѣдушка, по какому это случаю служатъ сегодня панихиду?

Дѣдушка умильно мигаетъ слезящимися глазами и виновато шамкаетъ мнѣ подъ самое ухо:

— Не свѣдомо намъ, кормилецъ, по какой причинѣ... Ничаво намъ не свѣдомо!

„Ничаво“ и никому не свѣдомо... о, Русь святая!

Но вотъ „вѣчная память“ пропѣта, ученики городскихъ школъ, отстоявшіе кромѣ панихиды, цѣлую обѣдню, радостно высыпаютъ на площадку передъ соборомъ и шумно выстраиваются... „Смирна!“..“ слышится команда воспитателей: — „Ряды здвой!.. На лѣво кругомъ—маршъ!“

Вотъ и вся недолга.

Бѣдный „боляринъ Александръ!..“

Пасмурно, холодно...

Отправляюсь въ Кинешемскій народный театръ гдѣ должно состояться чтеніе въ память Пушкина.

Расположенъ народный театръ необыкновенно удачно—почти на самомъ берегу Волги, съ чудеснымъ видомъ на окрестности и съ широкой луговиной передъ фасадомъ театра, какъ нельзя болѣе пригодной для народнаго гулянья. Единственная

странность — это черезчуръ близкое сосѣдство съ правой стороны театра „Родильнаго пріюта“ (по лѣвую сторону идутъ солдатскія казармы; да и самъ театръ, между нами говоря, передѣланъ изъ солдатской казармы). Такъ какъ на фронтонѣ театра,— кстати сказать, украшеннаго по случаю пушкинскаго юбилея гирляндами и флагами, — никакой надписи не имѣется, то подобное сосѣдство легко можетъ послужить поводомъ къ весьма нежелательнымъ недоразумѣніямъ. Вдобавокъ, по своему наружному виду, театръ совсѣмъ не отличается привлекательностью и, несмотря на двухлѣтнюю давность, носитъ видъ лишь наканунѣ оконченной постройки: кирпичныя стѣны все еще не оштукатурены, двери не окрашены, площадка у театра не утрамбована—и, вообще, всякаго мусора вокругъ и около вполнѣ достаточно. Зато внутренность театра оставляетъ очень симпатичное впечатлѣніе, начиная съ чистенькаго фойэ, украшеннаго портретами Островскаго и Пушкина и кончая занавѣсью съ изображеніемъ вида Кинешмы и бюста Островскаго на пьедесталѣ, подъ бѣлой березой. — Благодаря Пушкинскимъ именинамъ стѣны партера очень красиво пестрятъ гирляндами, флагами и цвѣтами. Театральное зало вмѣщаетъ до пятисотъ человѣкъ причемъ полтораста мѣстъ отъ двадцати до десяти копѣекъ. И на томъ пока спасибо!

Несмотря на имѣющійся въ карманѣ билетъ, не безъ труда отвоевываю себѣ мѣстечко въ заднихъ рядахъ партера, на три четверти переполненнаго учениками городскихъ школъ: остальную четверть составляетъ простонародіе, первый рядъ креселъ заполняетъ мѣстная интеллигенція... За-

навѣсъ поднимается. На сценѣ экранъ для картинъ волшебнаго фонаря и справа, въ углу сцены, каѳедра для лектора. За каѳедру усаживается господинъ Клёпиковъ и очень звучно, очень длинно и очень скучно докладываетъ госпожѣ публикѣ „чѣмъ великъ и славенъ Пушкинъ“... Ни тѣни воодушевленія во все продолженіе лекціи, точно читается не славословіе Пушкину, а урокъ космографіи—рѣшительно тайному врагу своему не посовѣтую слушать на тощакъ подобную снотворную лекцію, хотя и въ день юбилея!.. Ученики городскихъ школъ, находящіеся какъ оказывается въ означенномъ предобѣденномъ состояніи, украдкой сладко позѣвываютъ и уныло перелистываютъ розданные имъ экземпляры сочиненій Пушкина... Вслѣдъ за господиномъ Клёпиковымъ является за каѳедрой господинъ Зиновьевъ, и уже совсѣмъ тихо, какъ бы сквозь сонъ, читаетъ стихотвореніе Плещеева, посвященное памяти Пушкина—надо думать, что юбилейное волненіе не ко времени сдавило ему горло. Такъ или иначе, но оба лектора награждаются непродолжительными, но весьма почтительными апплодисментами. (Господинъ Клёпиковъ, какъ говорятъ, фабричный инспекторъ, а господинъ Зиновьевъ — городской учитель).

Маленькій антрактъ — и на экранѣ послѣдовательно появляются изображенія Пушкина въ различные періоды его дѣятельности. Между прочимъ, появляется также на экранѣ и „няня Пушкина“ и, притомъ, весьма неудачно. Дѣло въ томъ, что она появилась на экранѣ безъ всякаго предувѣдомленія со сороны господъ педагоговъ и таковое не-

ожиданное появленіе никому невѣдомой сморщенной старушечьей физіономіи въ платкѣ произвело въ юной аудиторіи взрывъ неудержимаго, хотя и добродушнаго смѣха... — „Няня Пушкина—Арина Родіонова!“ поясняетъ вслѣдъ затѣмъ господинъ Зиновьевъ, но уже поздно: бѣдная почтенная старушка уже незаслуженно осмѣяна молодежью. Конечно, этого не было бы, если бы господа педагоги догадались заблаговременно пояснить юной публикѣ трогательное значеніе въ жизни Пушкина этого дорогого образа. Затѣмъ слѣдуетъ „памятникъ Пушкина въ Москвѣ“, возбуждающій единодушный восторгъ. — „Вотъ славно! Вотъ хорошій памятникъ!“—слышится вокругъ...

Маленькій антрактъ — и за педагогической каѳедрой опять появляется господинъ Клёпиковъ, избравшій на этотъ разъ для чтенія „Братьевъ разбойниковъ“. (Вѣроятно ради близкаго сосѣдства съ Волгой). Читаетъ онъ не лучше, но его чтеніе, иллюстрированное картинами волшебнаго фонаря, возбуждаетъ несомнѣнный подъемъ публики какъ учащейся, такъ и простонародной. Занавѣсъ падаетъ теперь при громкихъ апплодисментахъ.

Опять антрактъ — на этотъ разъ долгій, очень долгій, особенно томительно долгій для маленькихъ людей, привыкшихъ обѣдать въ свое время... Но антрактъ на этотъ разъ разнообразится однимъ чрезвычайно загадочнымъ обстоятельствомъ: наставники въ мундирныхъ сюртукахъ что-то шепчутъ на-ухо своимъ питомцамъ въ сѣрыхъ курткахъ; тѣ, въ свою очередь, шепчутся другъ съ другомъ—и часть учениковъ, исчезнувъ на мгновеніе изъ театральной залы, возвращается обратно съ цѣ-

лыми кустарниками въ рукахъ—березы, черемухи и волчьей ягоды. Трофеи братски дѣлются между юными зрителями и, въ короткое время, весь партеръ обращается въ настоящій лѣсъ, — лѣсъ признаться довольно таки шумливый. Кого ни спросишь для чего все это — никто ничего не знаетъ, хотя всѣ замѣтно взволнованы... Очевидно, Кинешемскому міру готовится нѣчто необычайное!.. Мнѣ невольно приходитъ на память извѣстный стихъ изъ Макбета:

„Пока Бирнамскій лѣсъ
Не двинулся на Донзинанскій замокъ—
Страхъ не знакомъ мнѣ...“

Наконецъ, занавѣсъ взвивается... На авансценѣ—хоръ пѣвчихъ и какихъ-то дѣвицъ съ постными лицами и нотами въ рукахъ... Посреди столъ, накрытый краснымъ сукномъ, и на немъ — большой портретъ Пушкина, обрамленный вѣнкомъ изъ дубовыхъ листьевъ. Позади портрета—неизмѣнная принадлежность всѣхъ Кинешемскихъ торжествъ—оркестръ семейства Шварцъ. Хоръ, подъ музыку нѣмцевъ, поетъ сначала національный гимнъ, а потомъ гимнъ Пушкину. То и другое повторяется по два раза, при оглушительныхъ апплодисментахъ... А затѣмъ происходитъ какое то всеобщее замѣшательство—никто не знаетъ, что предпринять... Педагоги недоумѣвающе смотрятъ на пѣвчихъ и постныхъ дѣвицъ, а постные дѣвицы и хористы недоумѣвающе смотрятъ на педагоговъ. А Пушкинъ грустно добродушно улыбается на тѣхъ и другихъ изъ своей зеленой рамки. Наконецъ, послѣ какихъ-то домашнихъ пререканій, на сцену взби-

раются по лѣсенкѣ оркестра два великовозрастныхъ гимназиста съ большимъ вѣнкомъ изъ дубовыхъ листьевъ; но вмѣсто того, чтобъ вѣнчать имъ Пушкина, они стараются приладить вѣнокъ къ портрету, въ видѣ новой рамки, что сразу неудается, закрывая добрую половину портрета. И затѣмъ опять молчаніе: музыка молчитъ, публика молчитъ, педагоги молчатъ... Бирнамскій лѣсъ тоже молчитъ и не двигается... Двѣ-три сѣрыя куртки вползли, было, по лѣсенкѣ на сцену, поспѣшно положили свои вѣтки къ подножію и, сконфузившись, бѣжали вспять. Выручили, какъ зачастую въ русской жизни, нѣмцы—очевидно справедливо, „что намъ безъ нѣмцевъ нѣтъ спасенія!“ Семейство Шварцъ сообразило, что безъ музыки самое чествованіе выйдетъ черезчуръ сухо и грянуло развеселый опереточный маршъ (по справкамъ маршъ изъ оперетки Линде „Eine feine familie“).

И вотъ, подъ нѣмецкіе опереточные звуки, „Бирнамскій лѣсъ“ вдругъ двинулся... Каждый ученикъ поспѣшно взлѣзаетъ по лѣсенкѣ на сцену, поспѣшно складываетъ на полъ свою березу, черемуху или волчью ягоду и также поспѣшно скрывается; въ числѣ учениковъ затесался даже какой-то курносый малышъ въ разорванномъ пальто и босикомъ съ огромнымъ кустомъ волчьей ягоды въ рукахъ... Милые юноши, вѣнчавшіе поэта,—они одни только, кажется были искренно взволнованы своей близостью къ Пушкину и держались съ подобающимъ достоинствомъ и благоговѣніемъ. А остальные? Ненаставленные своими наставниками, усталые и растрепанные, они походили—да простятъ мнѣ это сравненіе!—на обывателей, только

что выбравшихся изъ торговыхъ бань, и спѣшившихъ бросить, по дорогѣ, ненужные имъ вѣники... Но вотъ, передъ Пушкинымъ, скапливается, наконецъ, такая огромная куча всякаго муссора, что больше нѣтъ прохода... Опереточные звуки обрываются, занавѣсъ быстро падаетъ—и столь же быстро пустѣетъ театральная зала.

Я выхожу изъ театра съ поникшей грустно головой и пробираюсь, мимо солдатскихъ казармъ, на берегъ Волги...

Пасмурно, холодно...

Откуда то, снизу, плачетъ знакомая волжская пѣсня, столь популярная среди рабочихъ и прочей рѣчной голи—„Доля бѣдняка“:

„Эхъ ты, доля, эхъ ты, доля,
Доля бѣдняка!
Тяжела ты, безотрадна,
Тяжела, горька!
Не твою ли это хату
Вѣтеръ пошатнулъ,
Съ крыши ветхую солому
Разметалъ, раздулъ?
. . . . . .
Не твоя-ль жена, въ лохмотьяхъ
Ходитъ босикомъ?
Не твои-ли это дѣтки
Просятъ подъ окномъ?

Но вотъ хлынулъ дождь — и горькая пѣсня оборвалась, какъ заглушенное рыданіе... Распускаю зонтъ и слѣдую къ ближайшему трактиру, чтобы перекусить. По случаю кануна „Вознесенія“ въ трактирѣ тихо и безлюдно. Услужливый половой, въ утѣшеніе, предлагаетъ мнѣ свѣже-полученный нумеръ „Московскаго Листка“, на этотъ разъ

сплошь переполненный описаніями шумныхъ столичныхъ торжествъ въ честь Пушкина... Читаю:— „Россія, вся великая могучая Россія откликнулась. Да и могла ли она не откликнуться? Можно сказать, повсюду „отъ хладныхъ финскихъ скалъ до пламенной Колхиды“ звучитъ одинъ дружный хоръ во славу русскаго поэта!!“

III.

На другой день, въ томъ же театрѣ, гдѣ такъ нескладно дѣйствовали въ честь Пушкина гг. педагоги, долженъ былъ состояться „общедоступный спектакль“, какъ оповѣщено было на афишѣ: „въ ознаменованіе столѣтія со дня рожденія Пушкина“. Къ прискорбію, и въ этотъ день почти сплошь шелъ дождь и лишь немного угомонился, незадолго до начала спектакля, какъ бы изъ уваженія къ памяти поэта. Въ этотъ же день на улицахъ, прилегавшихъ къ Вознесенской церкви, открылась вознесенская ярмарка, не представлявшая, впрочемъ, ничего выдающагося: ситцы, сласти, дѣтскія игрушки, все въ самомъ ограниченномъ и убогомъ видѣ. Единственную оригинальность ярмарки являла собой палатка въ русскомъ стилѣ, въ которой красивый расторопный парень, въ расшитой шелками рубахѣ, продавалъ дешевыя изданія Пушкина, картины на сюжеты изъ его произведеній, его портреты, виды памятника въ Москвѣ и т. д. Около этой палатки была самая огромная и оживленная толпа... Впрочемъ виноватъ—толпы вовсе не было да и палатки тоже не было—тысячу разъ виноватъ: все это я видѣлъ въ Кинешмѣ, во снѣ, наканунѣ

пушкинскаго юбилея и вотъ какъ то смѣшалъ сонъ съ дѣйствительностью. Простите великодушно невольную описку!!.

И такъ я разгуливалъ по ярмаркѣ и думалъ, думалъ о разныхъ разностяхъ... Отчего, думалось мнѣ, такъ очевидно богатѣющая въ промышленномъ отношеніи Кинешма, оказалась вдругъ такой постыдно бѣдной въ день пушкинскаго юбилея, что даже не смогла пріобрѣсти пушкинскаго бюста? А вѣдь такой бюстъ стоитъ совсѣмъ не такъ ужъ дорого... Куда дешевле вотъ той модной купеческой шляпки, что сейчасъ выплыла на паперть Вознесенской церкви! Или отчего, напримѣръ, не было объявлено во всенародное свѣдѣніе о пушкинской панихидѣ? Можетъ быть, градоправители смиренно уклонились отъ рекламы! Но отчего же тогда я вижу на столбахъ обрывки афиши о прибытіи въ городъ Кинешму „Шуры Молдаванки“ и сіе интернаціональное событіе признано достойнымъ ко всенародному оповѣщенію, а чисто національное событіе, вродѣ пушкинской панихиды, не удостоено предувѣдомленія?! Или, можетъ быть, въ городѣ Кинешмѣ нѣтъ городского головы, чтобы распорядиться? Но нѣтъ, въ городѣ Кинешмѣ есть городской голова, и я его видѣлъ наканунѣ на Московской улицѣ. Онъ сошелъ съ бѣговыхъ дрожекъ и, размахивая руками, что-то горячо объяснялъ стоявшимъ передъ нимъ безъ шапокъ двумъ сиволапымъ мужикамъ. Вчера я даже склоненъ былъ подумать, что горячившійся городской голова, вѣроятно, старался втолковать мужикамъ-простачкамъ значеніе пушкинскаго юбилея—къ чему, конечно сегодня я уже не склоненъ!..

Но, однако, довольно философствовать—скоро 6 часовъ, пора на общедоступный спектакль въ память Пушкина!.. Ахъ, какъ это умно, что начало спектакля назначено въ 6, а не въ 8, по столичному!.. Нѣтъ ничего смѣшнѣе, когда провинція, встающая съ пѣтухами и обѣдающая послѣ полудня, вынуждена въ день театральнаго представленія ломать весь патріархальный порядокъ своей жизни и ложиться, ради столичной моды, послѣ полуночи. Я бы даже назначилъ начало представленія въ 5 часовъ (къ чему складъ провинціальной жизни ни мало не препятствуетъ), дабы, какъ въ доброе время Мольеровской комедіи, публика, бывшая на спектаклѣ, могла бы дѣлиться своими впечатлѣніями за своимъ обычнымъ раннимъ ужиномъ. Во сколько бы выиграла отъ этого свѣжесть впечатлѣнія и, слѣдовательно, значенія драматическаго представленія, говорить, я думаю, излишне!

Во всякомъ случаѣ, это—„начало въ 6 часовъ вечера"—было первое умное и оригинальное слово, обрадовавшее меня на афишѣ народнаго театра. Къ прискорбію, оно оказалось однимъ только „словомъ" и, благодаря чисто любительскимъ порядкамъ, царствующимъ въ Кинешемскомъ театрѣ, спектакль начался лишь въ $7^1/_2$ часовъ, истомивъ до озлобленія аккуратно собравшуюся къ назначенному часу долготерпѣливую провинціальную публику.

Долготерпѣливая публика, заплатившая не малыя, по провинціи, деньги, выражаетъ, однако, отъ времени до времени, свое неудовольствіе стукомъ и апплодисментами, любители съ глубокомысленными лицами безцѣльно шмыгаютъ взадъ и

впередъ по корридору (онъ же фойэ театра), занавѣсъ и оркестръ упорно пребываютъ въ темнотѣ. Въ числѣ немногихъ, особенно безпокойныхъ, я выхожу изъ театра и, отъ нечего дѣлать, направляюсь черепашьимъ шагомъ черезъ лугъ мимо казармъ къ Кинешемскому кладбищу. Но ворота кладбища заперты, и я возвращаюсь тѣмъ же шагомъ обратно. Представленіе все еще не начинается. Занавѣсъ и оркестръ по прежнему во мракѣ, публика галлерки и балкона по прежнему выражаетъ свое неудовольствіе, гг. любители по прежнему шмыгаютъ взадъ и впередъ по корридору... И любительскіе діалоги здѣсь приблизительно все тѣ же, что вы услышите передъ любымъ любительскимъ спектаклемъ въ Петербургѣ или Москвѣ.

— Неужели Петръ Ивановичъ еще до сихъ поръ не пріѣхалъ? Надо бы послать за нимъ извозчика!

— Извозчика нѣтъ—извозчикъ сейчасъ уѣхалъ за учительницей...

— Ну тогда пошлите Кузьму, онъ живо сбѣгаетъ.

— Помилуйте, Кузьма только что побѣжалъ въ аптеку за американскимъ вазелиномъ для Натальи Осиповны!..

— Ахъ, Боже мой, Боже мой, когда же мы послѣ этого начнемъ!!...

Выручаютъ на этотъ разъ, какъ всегда, нѣмцы, т. е. въ оркестръ вползаютъ члены семейства Шварцъ и для успокоенія негодующей публики начинаютъ дудить что-то совсѣмъ несогласно съ юбилейнымъ торжествомъ. Но Петръ Ивановичъ, заспавшійся послѣ праздничнаго пирога все еще

не проснулся, учительница вѣроятно еще не докончила въ толстомъ журналѣ статью о благодѣтельности марксизма, а Наталія Осиповна, надо полагать, рветъ и мечетъ въ своей уборной, въ ожиданіи американскаго снадобія... Представленіе все не начинается. Добросердечные нѣмцы снова что-то дудятъ, что-то до такой степени сентиментальное, что безусловно должно разжалобить самое черствое сердце. И затѣмъ—новый томительный антрактъ... Но вотъ—о, радость!—въ оркестрѣ появляется человѣкъ въ рабочей блузѣ и, довольно безцеремонно тѣсня локтемъ нѣмецкую семью, зажигаетъ театральную рампу... Слава Богу, значитъ Петръ Ивановичъ проснулся и пріѣхалъ, учительница дочитала статью о марксизмѣ, а Наталія Осиповна получила американскій вазелинъ, вѣроятно дающій вторую молодость.

Стѣнные часы въ корридорѣ фойэ бьютъ половина восьмого и занавѣсъ, къ общему облегченію, взвивается. На сценѣ все та-же многострадальная семья Шварцъ—но изъ уваженія къ тѣни Пушкина или за неимѣніемъ театральной мебели—семья играетъ теперь стоя, а не сидя. По программѣ, она играетъ увертюру изъ оперы Глинки „Русланъ и Людмила“—только совсѣмъ не ту увертюру и не того Глинки, которую мы обыкновенно слышимъ въ Петербургѣ въ Маріинскомъ театрѣ, а совсѣмъ другую, довольно необыкновенную, вѣроятно спеціально аранжированную къ юбилейному спектаклю. Послѣ означенной загадочной увертюры, слѣдуетъ исполненіе той же духовой семьей знаменитаго романса „Я помню чудное мгновеніе“, заставившее меня, насколько я теперь помню, пережить мгно-

венья совсѣмъ обратнаго свойства. А затѣмъ опять гимнъ Пушкину, и опять въ томъ же великопостномъ составѣ и тонѣ, въ какомъ онъ былъ исполненъ наканунѣ утромъ. Гимнъ повторяется, занавѣсъ падаетъ. Полчаса антракта.

Въ антрактѣ я разговорился съ кинешемскимъ мѣщаниномъ, очень степеннаго вида, въ длиннополомъ сюртукѣ и темносиней рубашкѣ со шнурками.

— Неужели у васъ такъ всегда безбожно тянутъ?—Мѣщанинъ усмѣхнулся.

— Это еще что-съ... А вотъ какъ, онамѣднясь, первую репетицію Пушкину дѣлали, такъ театръ до самаго свѣту затянулся, къ ранней обѣднѣ, почитай, благовѣстить стали!.. (какъ оказывается настоящій спектакль былъ точное повтореніе программы воскреснаго спектакля). Оттого и народу сегодня куды меньше!..

— А на первомъ спектаклѣ много было?

— Наканунѣ все было пораскуплено...

— Ну, а какъ зимой? продолжалъ я допытывать словоохотливаго мѣщанина.

— О зимѣ и говорить нечего. За недѣлю надо записываться, чтобы получить мѣсто!.. А вотъ какъ давали, на святкахъ, „Бѣдность не порокъ“ извѣстнаго сочинителя Островскаго,—такъ просто отбою отъ билетовъ не было; три раза сподрядъ эту самую „Бѣдность“ давали—и кажный разъ все биткомъ... И то сказать,—меланхолически заключилъ мой собесѣдникъ:—зимой, въ Кинешмѣ, только и есть что театръ, гдѣ можно, значитъ, разумной твари душу отвесть!..

— И зимой, поди, такъ же тянутъ?—Онъ опять усмѣхнулся.

— Есть грѣхъ. Извѣстно—любители, не по своему дѣлу въ жизни пристроились!—Мѣщанинъ откланялся: дребезжащій звонокъ звалъ въ театральную залу.

Дальнѣйшее теченіе юбилейной программы происходило въ такихъ инквизиторскихъ условіяхъ: первая сцена изъ „Русалки“ (полчаса антракта). Живая картина изъ сказки о „Рыбакѣ и рыбкѣ“ (20 минутъ антракта). Живая картина: Пиръ изъ оп. „Русланъ и Людмила“ (20 минутъ антракта) Живая картина „Пушкинъ въ селѣ Михайловскомъ“ (полчаса антракта). „Сцена у фонтана“ (20 минутъ антракта). „Апоѳеозъ“ (Пушкинъ, вѣнчаемый Россіею). Конецъ.

Что сказать вамъ объ исполненіи сценическихъ отрывковъ? За исключеніемъ женской роли, исполненной профессіональной провинціальной актрисой, очень не молодой и очень рутинной, все остальное сбивалось на самое первобытное любительское исполненіе. „Мельникъ“ походилъ на ряженаго святочнаго дѣда, „Князь“ читалъ стихи Пушкина въ полголоса и предлагалъ дочери Мельника, вмѣсто стариннаго ларца, бонбоньерку отъ Абрикосова, а „Самозванецъ“ игралъ, съ бородой и физіономіей замученнаго уроками педагога. Впрочемъ я видѣлъ на своемъ вѣку всякіе любительскіе виды и все это, признаться, мало меня удивляло (разъ даже я видѣлъ на одной любительской сценѣ „Чацкаго“ съ рыжей бородой вѣеромъ, въ синихъ очкахъ и зеленыхъ перчаткахъ).

Живыя картины также были скомпанованы безвкусно и неумѣло, за исключеніемъ картины „Пушкинъ въ селѣ Михайловскомъ“, добросовѣстно ско-

пированной съ извѣстной картины Гэ,—справедливо возбудившей наибольшій восторгъ публики... Впрочемъ нетребовательная и добродушная Кинешемская публика, вообще, не скупилась на апплодисменты, а „Апоѳеозъ"—Пушкинъ стоитъ на красномъ помостѣ, окруженный нѣкоторыми фигурами изъ своихъ произведеній (въ томъ числѣ рыжій матросъ съ засунутыми фамильярно въ карманы руками?!) и его вѣнчаетъ зеленымъ вѣнкомъ полногрудая женщина въ блестящемъ кокошникѣ и желтомъ сарафанѣ—этотъ апоѳеозъ вызвалъ настоящій ревъ восторга. Занавѣсъ поднималась болѣе четырехъ разъ, и оркестру семейства Шварцъ, вопившему во время вѣнчанія Россіею Пушкина, знакомый опереточный маршъ, пришлось довольно таки потрудиться ради имени Пушкина.

Но, благодареніе Создателю, это драгоцѣнное имя, такъ или иначе, отнынѣ вошло въ обиходъ Кинешемской жизни—будемъ радоваться и этому немногому!.. Пробираюсь изъ театра по дорогѣ къ трактиру и, подъ шумокъ накрапывавшаго дождя, слышу разговоръ двухъ мужиковъ:

— Вотъ поди-жъ ты, вѣдь сказываютъ, что энтотъ самый Пушкинъ былъ вродѣ какъ ссыльный? удивляется одинъ.

— Никакъ иначе! убѣжденно подтверждаетъ другой.

— А теперь вотъ нна̀—какъ его всякимъ огнемъ освѣщаютъ, будто главнаго побѣдителя! Чудеса ей Богу!..

На сей разъ, и въ трактирѣ, куда я по обычаю, забрелъ, чтобы перекусить передъ сномъ, кромѣ именъ Зевеке и Зарубина слышалось наконецъ и

имя „Пушкина“. Впрочемъ, два сосѣдніе стола занимаетъ компанія интеллигентная, лица даже будто знакомыя, очевидно тоже бывшія въ театрѣ на юбилейномъ торжествѣ. По правую руку отъ меня засѣдаютъ четверо партикулярныхъ пожилыхъ людей, распивающихъ пиво, а по лѣвую парочка юныхъ телеграфистовъ, приступающая къ водкѣ... Идетъ довольно оживленный разговоръ:

— Я, господа, никому не навязываю своего мнѣнія,—вѣщаетъ авторитетно какой-то лысый и добродушный толстякъ;—но я прямо скажу—всѣ эти затѣи въ честь Пушкина, по моему, совершенно излишни! Повторяю, я никому не навязываю своего мнѣнія, но я только спрашиваю у васъ одно: что такое сдѣлалъ, въ сущности, Пушкинъ? Красно писалъ—вотъ и все!.. Хорошій стилистъ—и больше ничего!!

Юные телеграфисты явно возмущены и горячо вступаются за Пушкина:

— Андрей Лукичъ, помилосердствуйте—вѣдь это все-таки, Пушкинъ!..

Андрей Лукичъ добродушно-иронично морщится и подливаетъ себѣ пива.

— Чтожъ такое, что Пушкинъ, если онъ меня нисколько не трогаетъ!

Самый юный телеграфистъ, въ очкахъ, негодующе ерошитъ свои бѣлокурые волосы.

— Позвольте, однако, а какъ же Петербургъ, и потомъ Москва... вѣдь не глупѣе же тамъ люди, если устраиваютъ такой парадъ? Или вы полагаете—глупѣе?..

Но тутъ я имѣлъ неосторожность выступить, незваннымъ-непрошеннымъ, на поддержку милыхъ

юношей.—Во всякомъ случаѣ, честь и слава кинешемскимъ телеграфистамъ, заступившимся, по мѣрѣ своихъ силъ, за многострадальную тѣнь Пушкина!!.

Утромъ 28 мая, я покидалъ Кинешму и—представьте—покидалъ далеко не съ тѣмъ угнетающимъ чувствомъ, какое возбудили во мнѣ здѣсь мои первыя впечатлѣнія. Плодъ на вкусъ былъ несомнѣнно горькій, а осадокъ неожиданно получился сладкій... Суть конечно не въ томъ, что кинешемскіе театральные любители, какъ большинство любителей земного шара, неумѣлы и безтолковы; не въ томъ, что на живой картинѣ сказочнаго пира Русланъ и Людмила пиршествовали въ интимной компаніи шести человѣкъ, изъ коихъ двое зудили подъ самое ухо новобрачныхъ въ длинныя трубы изъ золотой бумаги, свернутой фунтикомъ; и не въ томъ, напримѣръ, что слово апоѳеозъ напечатано было на русской афишѣ черезъ „ф“, а нѣмецкое семейство Шварцъ пожелало усугубить торжественность минуты опереточнымъ тру-ля-ля—но дѣло въ томъ, что среди всей этой простодушно безтолковой суетни слышался все-таки первый лепетъ нарождающагося народнаго театра; дѣло въ томъ, что самое имя великаго поэта пущено въ умственное обращеніе толпы... дѣло, наконецъ, въ томъ, что дѣти и юноши, встрѣтившіе этотъ знаменательный день на Руси съ книгой Пушкина въ рукахъ, обезпечиваютъ себѣ и своимъ потомкамъ болѣе свѣтлые и далекіе горизонты!!...

Когда пароходъ сталъ удаляться отъ города

Кинешмы, послѣднее, что предстало моимъ глазамъ на горизонтѣ—знакомое красноватое зданіе народнаго театра съ обширной луговиной передъ нимъ... и мнѣ невольно помечталось—какъ бы было хорошо украсить это мѣсто достойнымъ памятникомъ достойнѣйшему кинешемскому земляку и пѣвцу Волги—Александру Николаевичу Островскому, чье имя такъ искренно популярно повсюду на Приволжьѣ... Тогда бы, подъѣжая къ Кинешмѣ—первое, чтобы трогательно останавливало взоръ путешественника—была бы статуя дорогаго драматурга, и такимъ образомъ сбылось бы по евангельскому завѣту, что послѣдніе станутъ первыми; а „послѣдними“ на русской землѣ пока, конечно, все еще числятся братья-писатели. И если бы эта радостная мечта, когда-нибудь осуществилась, можно бы смѣло сказать, что пушкинское торжество не прошло безслѣдно для града Кинешмы, и что чествованіе священной памяти поэта отпечатлѣлось таинственнымъ и благодѣтельнымъ знаменіемъ на дальнѣйшихъ писательскихъ судьбахъ!..

И почему бы, въ самомъ дѣлѣ, этому литературному мечтанію не осуществиться даже въ самомъ близкомъ будущемъ?!..

По слѣдамъ Пушкинскаго торжества.

(Изъ записной книжки).

Святыя Горы, Псковск. губ.
26 іюня 1899 г.

Ровно годъ тому назадъ, былъ я на могилѣ Пушкина... и вотъ теперь, какъ разъ спустя мѣсяцъ послѣ Пушкинскихъ празднествъ, очутился снова на Святыхъ Горахъ. Но какая разница *тогда* и *теперь*!.. Сколько затрудненій мнѣ тогда пришлось испытать прежде, чѣмъ я добрался до могилы Пушкина — ни въ Псковѣ, ни на станціи Островъ никто не могъ мнѣ указать толкомъ настоящей дороги; вдобавокъ, на станціи Островъ, какой то по виду вполнѣ интеллигентный старикъ, сидѣвшій въ буфетѣ съ гимназистомъ въ формѣ, къ которому я обратился по этому поводу, не только

Примѣч. автора. Такъ какъ о Пушкинскомъ праздникѣ и Пушкинскихъ уголкахъ достаточно писано и переписано, то, печатая настоящій дневникъ и радѣя, главнымъ образомъ, о содержаніи и фактахъ, я (можетъ быть въ ущербъ формѣ) тщательно вычеркнулъ въ рукописи все, что сколько-нибудь носило характеръ избитости и повторенія.

ничего не могъ объяснить, но все добивался отъ меня „по какому собственно дѣлу я ѣду“, очевидно никакъ не постигая, что путешествіе на могилу Пушкина могло быть само по себѣ цѣлью... Теперь майскій шумъ Пушкинскихъ празднествъ сдѣлалъ то, что любой кондукторъ можетъ дать вамъ всѣ надлежащія свѣдѣнія...

На первый разъ, однако, не обошлось безъ нѣкотораго разочарованія. Извозчикъ, котораго я нанялъ за два рубля отъ Острова до первой станціи Крюкова— мальчуганъ лѣтъ пятнадцати, съ голубыми глазами и въ оборванномъ армякѣ—имѣлъ весьма скудное понятіе о великомъ поэтѣ земли русской.

— Ты хорошо дорогу знаешь?—спрашиваю его.

— Помилуйте, какъ не знать... Сколько народу къ этому самому Попушкину наѣзжало—страсть!

— Какой такой „Попушкинъ“?!.

— А кто собственно Попушкинъ—намъ не вѣдомо... потому лошадей отъ земства ставили, а насъ не приглашали!...

Оказалось, что простоватый парень, постоянно слыша отъ господъ о панихидѣ „по Пушкину“, окрестилъ про себя виновника торжества г. Попушкинымъ. Это мнѣ напомнило одинъ великосвѣтскій анекдотъ, который нѣсколько лѣтъ тому назадъ Боборыкинъ повѣдалъ на страницахъ „Новостей“, о какой-то свѣтской барынѣ, которая просила объяснить ей, что это за новый писатель „Эленъ“, о которомъ всѣ такъ много шумятъ. Милой барынѣ, разсѣянно пробѣгавшей русскія газеты, попадались, оказывается, отрывочныя фразы о Львѣ Николаевичѣ Толстомъ, въ родѣ: „послѣд-

нее произведеніе Л. Н. положительно потрясаетъ“ или „мнѣніе Л. Н. о декадентахъ далеко не благопріятное“—и она создала въ своемъ воображеніи, на манеръ моего извозчика, совершенно новаго писателя г. Элена—характерный фактъ, доказывающій, что иныя петербургскія барыни въ пониманіи русской литературы не далеко отошли отъ извозчиковъ.

Другой извозчикъ, который везъ меня отъ Крюкова, уже великовозрастный, фамилію Пушкина произносилъ вѣрно, но о самомъ Пушкинѣ имѣлъ очень своеобразное понятіе...

— А я очень просто понимаю о Пушкинѣ, — повѣдалъ онъ мнѣ, раскуривая свою трубку:— Пушкинъ померъ и теперь еще его память величаютъ.

— А ты читалъ сочиненія Пушкина?

— Нѣ, баютъ опасно много читать—кто много евоныя сочиненія читаетъ... того, баютъ, смерть скоро захватитъ!

— Это же почему?

Ямщикъ сдѣлалъ серьезное лицо.

— Извѣстно почему. Чай сами знаете... чего распрашиваете!!—заключилъ онъ, недовѣрчиво на меня покосившись.—Этимъ бесѣда наша и окончилась.

Зато на мѣстѣ, въ Святыхъ Горахъ, все полно Пушкинымъ. Въ читальнѣ, открытой при богадѣльнѣ, цѣлыхъ два бюста Пушкина, въ народной чайной портретъ Пушкина, въ покояхъ настоятеля монастыря опять нѣсколько портретовъ Пушкина; въ лавкахъ „карамель Пушкинъ“, папиросы Пушкинъ; даже въ окнѣ церковной лавочки, при мо-

настырѣ, на кисейной занавѣси чьей-то искусной рукой тоже нарисованъ весьма схожій Пушкинъ. Кромѣ того, гуляя около монастыря, на стѣнѣ монастырской ограды нашелъ стихотворный отзвукъ Пушкинской поэзіи, принадлежащій рукѣ какого-нибудь веселаго послушника, очевидно вдохновившагося пятой главой „Евгенія Онѣгина“ (Зима... крестьянинъ торжествуя“).

„Весна... Послушникъ торжествуя
Съ котомкой удираетъ въ путь,
Его душа, свободу чуя,
Готова въ высь улепетнуть..“

Благодаря имени Пушкина, всякій литераторъ — почетный гость въ Святыхъ Горахъ и отчасти этому обстоятельству я обязанъ доброму гостепріимству, которое мнѣ оказали въ монастырѣ, помѣстивъ меня въ покояхъ отсутствующаго настоятеля. Самъ по себѣ монастырь не богатъ и номеровъ, спеціально приспособленныхъ для пріѣзжающихъ, не имѣетъ.

27—28 іюня.

Во время обѣдни зашелъ на могилу Пушкина. Боже мой, какой это мирный и поэтическій уголокъ! Прямо отъ памятника видна старинная, обветшавшая отъ времени часовенка, за ней лѣса и поля, а изъ оконъ монастыря вмѣстѣ съ кадильнымъ фиміамомъ несутся трогательные звуки „Херувимской“... Тишь, да гладь, да Божья благодать!.. Много-много, если внизу, подъ горой, простучитъ телѣга мужика... Невольно припоминается отры-

вокъ, найденный въ черновикахъ Пушкина, очевидно набросанный подъ впечатлѣніемъ осенняго вида святогорскаго кладбища:

„Стою печально на кладбищѣ,
Гляжу—кругомъ обнажено
Святое смерти пепелище
И степью лишь окружено.
И мимо вѣчнаго ночлега
Дорога сельская лежитъ:
. . . . . телѣга
. . . . . стучитъ."

Къ сожалѣнію, бродя по кладбищу, наткнулся на стихъ уже совсѣмъ не Пушкинскій, начертанный на памятникѣ какой-то Устиньи Тимофеевны, умершей, однако, въ 1884 году:

„Покойся сердцу дорогая
До звука ангельской трубы,
Тогда увидимся съ тобою
Въ предѣлахъ радости судьбы!"

Очевидно, даже на протяженіи полувѣка, сосѣдство Пушкина не оказало существеннаго вліянія на мѣстную поэзію.

Вернувшись въ покои настоятеля, я кстати поинтересовался заглянуть въ имѣющуюся при монастырѣ „Книгу для записыванія посѣтителей". Изъ нея явствуетъ, что иниціатива паломничества на могилу Пушкина принадлежитъ нашему почтенному академику Л. Н. Майкову, который тамъ былъ въ іюнѣ 1896 г. Затѣмъ слѣдуютъ записи профессора Глазенапа и профессоровъ юрьевскаго университета Шмурло и Пѣтухова. Всего въ 1896 г. могилу посѣтило 16 человѣкъ, въ 1897—8 ч. въ 1898 г.—13 (изъ нихъ 8 членовъ какого-то велоси-

педнаго кружка) и только въ маѣ 1899 года число записей доходитъ до полусотни.

Нельзя сказать, чтобъ много для большого поэта такого большого государства, какъ Россія!..

Мнѣ вспомнилась при этомъ случаѣ печальная судьба перваго полнаго собранія сочиненій Пушкина, изданнаго по Высочайшему повелѣнію для обезпеченія семьи поэта. Министръ В. Д. Блудовъ, высылая тогдашнему псковскому губернатору Пещурову 40 подписныхъ билетовъ означеннаго изданія, между прочимъ, писалъ: „Кажется нельзя сомнѣваться, что русскіе всѣхъ сословій, всегда на поприщѣ славы и добра одушевляемые примѣромъ своего Монарха, захотятъ и въ семъ случаѣ, почтивъ память великаго поэта, съ тѣмъ вмѣстѣ способствовать и обезпеченію благосостоянія сиротъ дѣтей его“. Что же оказалось, на повѣрку? Изъ 40 билетовъ, высланныхъ на всю Псковскую губернію, губернаторъ вынужденъ былъ выслать обратно 18; по свѣдѣнію же изъ Ярославской губерніи видно, что по подобному же предложенію Блудова ярославскому губернатору, послѣдній успѣлъ сбыть только 11 экземпляровъ. („Слѣды пребыванія А. С. Пушкина въ Псковской губерніи“, И. И. Васильева).

Это, вѣдь, вы его такъ раздули, а мы тогда не придавали ему такого значенія!“ замѣтила мнѣ какъ-то моя покойная бабушка, старуха баронесса М. В. Клодтъ, когда разговоръ зашелъ о Пушкинѣ—и я часто вспоминаю эти знаменательныя въ своемъ простодушіи слова (кстати сказать, она лично знала Пушкина и не разъ разсказывала мнѣ на ухо, по секрету, какъ Пушкинъ, очутившись

однажды въ тѣсномъ дамскомъ кругу и замѣтивъ чью-то маленькую хорошенькую ножку, бросился на колѣни и принялся ее цѣловать).

Дѣдъ мой, В. К. Клодтъ, съ своей стороны, передавалъ мнѣ очень характерный фактъ, относящійся къ послѣднимъ годамъ Пушкина, когда поэта травили его свѣтскіе недруги. Какъ-то онъ обѣдалъ у Н. И. Греча, и, на его счастье, пріѣхалъ Пушкинъ. Только что сѣли за столъ, и подали супъ, какъ вошелъ слуга и подалъ Пушкину какое-то письмо. Пушкинъ нервно сорвалъ конвертъ и съ видимой тревогой сталъ пробѣгать письмо. На это хозяйка, жена Греча, очень рѣзко замѣтила Пушкину по-французки приблизительно въ томъ смыслѣ, что „вѣроятно, письмо очень любопытное, если monsieur Пушкинъ даже забываетъ изъ-за него о приличіи". Пушкинъ поблѣднѣлъ, всталъ и вышелъ. „Такъ мнѣ и не удалось пообѣдать съ Пушкинымъ!" заключилъ свой разсказъ, со вздохомъ, мой дѣдъ.

Не думаю, чтобы съ современникомъ Пушкина—Гёте—могли бы обойтись такъ безцеремонно въ Германіи!...

Какое „тогда" значеніе придавало Пушкину большинство такъ называемыхъ правящихъ классовъ, характерно подтверждаетъ, между прочимъ, письмо графа Воронцова къ графу Нессельроде по поводу высылки поэта изъ Одессы въ Псковскую губернію, письмо, недавно опубликованное Л. Н. Майковымъ въ „Русской Старинѣ". Какъ вамъ понравятся такія строки, напримѣръ?—„Главный недостатокъ Пушкина—самолюбіе. Здѣсь проживаетъ множество людей, и количество ихъ еще увели-

чится во время сезона купанья. Они, будучи экзальтированными поклонниками его поэзіи, думаютъ ему выразить этимъ свою дружбу и оказываютъ услугу непріятеля, способствуя его самоувлеченію и убѣждая его, что онъ—выдающійся писатель, между тѣмъ какъ Пушкинъ пока не болѣе, какъ слабый подражатель не особенно похвальнаго оригинала—лорда Байрона...“

Майскія празднества, разумѣется, искупили много грѣховъ, лежащихъ на совѣсти русскаго человѣка относительно Пушкина. Кстати, въ моемъ дорожномъ чемоданѣ уцѣлѣла пачка майскихъ нумеровъ провинціальныхъ газетъ, купленныхъ мною въ Костромѣ, гдѣ мнѣ пришлось быть нѣсколько дней спустя послѣ пушкинскаго торжества... Не безъ умиленія пробѣгая теперь ихъ восторженно простодушные отклики, выписываю нѣсколько отрывковъ наудачу:

Письмо *изъ Яренска.* „...26 мая, въ день столѣтія со дня рожденія Пушкина, въ нашемъ соборѣ была отслужена сначала заупокойная литургія по „боляринѣ Александрѣ“, а потомъ панихида о. протоіереемъ соборне со всѣми яренскими священниками. Передъ панихидой священникъ о. Н. Поповъ сказалъ слово, посвященное памяти Александра Сергѣевича. Всю суть слова о. Николая можно выразить въ слѣдующихъ словахъ: „Пушкинъ былъ проповѣдникъ добродѣтели, красоты и любви къ родинѣ и человѣчеству. Онъ былъ избранникъ Божій, такъ какъ Богъ надѣлилъ его талантами, какими мало кого надѣлялъ.“

Даниловъ... „Даниловское общество любителей музыкальнаго и драматическаго искусствъ, въ честь

А. С. Пушкина, по поводу столѣтія со дня его рожденія, устроило въ четвергъ, 27 мая сего года, восьмое исполнительное собраніе. Стеченіе публики было громадное, причемъ многіе пріѣхали изъ уѣзда".

Плёсъ... „И въ нашемъ маленькомъ заштатномъ городкѣ Пушкинскій праздникъ прошелъ не безъ торжества, благодаря матеріальнымъ пожертвованіямъ на это почетнаго смотрителя Александра Ивановича Бакакина и стараніямъ инспектора мѣстнаго городскаго трехкласснаго училища Сергѣя Федоровича Косаткина..."

Молога... „Торжество началось народнымъ гимномъ, исполненнымъ военнымъ оркестромъ и хоромъ любителей... Земскій врачъ С. А. Скобниковъ произнесъ блестящую рѣчь о значеніи поэзіи Пушкина. Затѣмъ слѣдовалъ рядъ живыхъ картинъ... Въ заключеніе былъ поставленъ грандіозный апоѳеозъ. На дирижерское мѣсто вышелъ мѣстный дирижеръ — О. М. Блатова... и раздались торжественные звуки кантаты г. Прибика, спеціально написанной для Пушкинскихъ торжествъ. Насъ просто поразило, откуда взялось столько музыкальной мощи у г-жи Блатовой!.."

А вотъ еще любопытная картинка изъ „Костромскаго Листка", посвятившаго фельетонъ описанію Пушкинскаго торжества на Сусанинской площади: „...Вотъ музыка заиграла „Боже, Царя храни". Зрители обнажили головы. Стоявшій въ сторонѣ и участливо смотрѣвшій на всю сцену мужикъ торопливо сдернулъ шапку и началъ истово и усердно молиться на выдѣлявшійся черезъ толпу бѣлый бюстъ поэта. Наивная выходка му-

жика вызвала громкій смѣхъ окружавшихъ и вмѣшательство блюстителя порядка, растолковавшаго представителю народа, что бюсту не подобаетъ молиться...“

Гм?!

Еще слово о Костромѣ. Когда послѣ жалкаго и неудачнаго честововання Пушкина въ Кинешмѣ я попалъ, проѣздомъ, въ Кострому, то первое, что мнѣ попалось на глаза на улицѣ, это уцѣлѣвшее на фонарныхъ столбахъ объявленіе о минувшемъ Пушкинскомъ праздникѣ. Списываю его здѣсь цѣликомъ, какъ своего рода историческую справку:

Порядокъ празднованія въ г. Костромѣ столѣтія со дня рожденія Пушкина.

„26 мая, въ 12 ч. утра, въ церкви Спаса въ рядахъ совершается панихида по усопшемъ поэтѣ. Одновремонно же, по министерскому распоряженію, совершаются панихиды во всѣхъ городскихъ начальныхъ учебныхъ заведеніяхъ въ присутствіи учащихъ и учащихся. Послѣ этого всѣ учащіеся получаютъ біографію Пушкина, а оканчивающіе по 1 тому сочиненій.

Въ 12 ч. всѣ учащіеся собираются на Сусанинской площади, гдѣ передъ бюстомъ Пушкина военнымъ оркестромъ исполнится народный гимнъ и, послѣ краткой рѣчи инспектора народныхъ училищъ Е. М. Никифорова, хоромъ учащихся—гимнъ А. С. Пушкину. Послѣ этого учащіеся идутъ на чтенія въ зданіе театра и читальню Островскаго.

27 мая, въ 4 час. въ зданіи театра, а въ 1 часъ

дня—въ народной читальнѣ устраиваются безплатно народные спектакли съ вокальными нумерами. Входные билеты раздаются чрезъ ремесленную и мѣщанскую управы и фабричныя конторы, вмѣстѣ съ билетомъ безплатно выдается біографія съ портретомъ А. С. Пушкина.

Въ особо устроенныхъ на Сусанинской площади кіоскахъ продаются дешевыя изданія сочиненій Пушкина, и безплатно раздаются юбилейные Пушкинскіе листки, изданіе городской народной читальни имени А. Н. Островскаго.

Обыватели города Костромы приглашаются 27 мая убрать дома флагами и иллюминовать. Вечеромъ 27 мая отъ города будетъ пущенъ фейерверкъ".

Не правда-ли, совсѣмъ какъ празднованіе Царскаго дня! (Полному торжеству помѣшала, впрочемъ, отмѣна панихиды на площади, ибо мѣстное духовенство рѣшительно уклонилось отъ участія въ празднествѣ).

А, кстати, какъ вы полагаете, кто „первый" въ Россіи оказалъ Пушкину истинно царскій почетъ, еще при жизни?.. Простой армейскій прапорщикъ, артиллерійскій офицеръ Григорьевъ... Этотъ знаменательный фактъ имѣлъ мѣсто въ 1824 году въ одной изъ великорусскихъ губерній, когда еще далеко немногими признавалось значеніе Пушкина и опальный поэтъ скитался по заглушьямъ земли русской. Путешествуя такимъ образомъ, Пушкинъ проѣзжалъ однажды мимо военнаго лагеря, гдѣ на лагерную площадку былъ выведенъ на ученіе взводъ, подъ командой Григорьева. Пушкинъ какъ разъ сбился съ дороги и не зналъ, какъ пробраться до деревни одного своего знакомаго.

Онъ подкатываетъ къ батареѣ, выходитъ изъ коляски и вѣжливо освѣдомляется у юнаго командира, какъ проѣхать туда-то. Выслушавъ объясненіе и поблагодаривъ за услугу, поэтъ хотѣлъ уже удалиться, когда юноша, почувствовавъ, по его собственнымъ словамъ, какую-то непостижимую симпатію къ „незнакомцу", въ свою очередь освѣдомился:

— Извините за нескромность, съ кѣмъ имѣю удовольствіе говорить?

— Пушкинъ...

— Какой Пушкинъ?..—вскрикнулъ Григорьевъ.

— Александръ Сергѣевичъ Пушкинъ, — отвѣчалъ тотъ улыбаясь.

— Вы, Александръ Сергѣевичъ Пушкинъ, вы— нашъ поэтъ, наша гордость, честь и слава... Вы, сочинитель Бахчисарайскаго фонтана, Руслана и Людмилы?? — и Григорьевъ, весь красный отъ восторга, замахалъ руками и вдругъ крикнулъ: „Орудіе! Первая пли".., и, вслѣдъ затѣмъ, раздался выстрѣлъ... „Вторая пли!!" и опять выстрѣлъ. На эти выстрѣлы, конечно, высыпали солдаты и офицеры изъ своихъ палатокъ, гдѣ-то забили тревогу, прискакалъ самъ батарейный командиръ, и бѣднаго Григорьева, страстнаго поклонника поэзіи, за неумѣстный восторгъ, посадили подъ арестъ. (Какъ извѣстно, пылкій и благородный Григорьевъ кончилъ свою жизнь скромнымъ инокомъ Оптиной пустыни, гдѣ его встрѣтилъ Гоголь, крѣпко его полюбившій. Этотъ анекдотъ своей юности онъ самъ разсказывалъ Гоголю, который, въ свою очередь, передалъ разсказъ Льву Арнольди, занесшему его въ свои воспоминанія о Гоголѣ).

Такъ или иначе, но „подвигъ“ восемнадцатилѣтняго прапорщика, перваго въ Россіи, подъ страхомъ строгой кары, торжественно салютовавшаго великому поэту въ далекой глуши, долженъ быть занесенъ, по справедливости, на скрижали исторіи русской литературы — и мое сердце бывшаго артиллериста гордо бьется, что первымъ громкимъ чествователемъ Пушкина былъ артиллерійскій офицеръ!!.

Послѣ „вечерни“ бродилъ по Святогорью... Первымъ дѣломъ навѣстилъ развалины народнаго театра, живописно чернѣющія на горѣ, на опушкѣ лѣса, какъ разъ напротивъ могильнаго памятника Пушкина. На развалинахъ встрѣтилъ какого-то рыжаго мужика въ рваномъ зипунѣ, который занимался складываніемъ досокъ и былъ весь полонъ недавними впечатлѣніями Пушкинскаго спектакля. Главное впечатлѣніе, впрочемъ, на него произвелъ весенній дождь, испортившій спектакль и такъ трагически отразившійся на исполнителяхъ—съ трогательнымъ участіемъ онъ мнѣ повѣдалъ какъ „промочила себѣ ножки“ княгиня Барятинская (Яворская), какъ испортилъ свою фрачную пару сочинитель Льдовъ, какъ мужики переносили барынь черезъ дорогу и т. п.—Затѣмъ я попалъ какъ разъ на противоположный конецъ мѣстечка, гдѣ на широкой площадкѣ, рядомъ съ волостнымъ правленіемъ, сохранились остатки недавняго величія — гигантскіе шаги и открытая сцена народнаго театра. Не взирая на то, что народная сцена уже съ мѣсяцъ какъ перестала дѣйствовать,

народа около нея всегда достаточно, а святогорскіе мальчуганы, чувствующіе почему-то особенную симпатію къ уцѣлѣвшей суфлерской будкѣ, поочередно возсѣдали на верху ея съ видимымъ удовольствіемъ... Затѣмъ навѣстилъ, по сосѣдству, опрятную и симпатичную народную чайную, играющую въ Святогорскѣ роль мѣстнаго клуба, а также зашелъ въ Пушкинскую читальню и богадѣльню при ней, устроенную въ память няни Пушкина — Арины Родіоновны. То и другое—дѣло рукъ земскаго начальника П. Ф. Карпова, имя котораго, равно какъ и имя игумена Святогорской обители Іоанна, неразрывно связано съ возрожденіемъ Святогорья. Въ Пушкинской читальнѣ я засидѣлся до поздняго вечера, увлеченный чтеніемъ нумеровъ... „Сельскаго Вѣстника". Къ стыду моему, я до сихъ поръ почти не имѣлъ понятія объ этой народной газетѣ, издающейся при „Правительственномъ Вѣстникѣ" и насчитывающей въ настоящее время до 100,000 подписчиковъ (кромѣ того, при „Сельскомъ Вѣстникѣ" имѣется безплатное литературное приложеніе популярнаго характера „Богъ Помочь").

Главное, что меня заинтересовало на этотъ разъ, это цѣлая серія писемъ крестьянъ о Пушкинѣ. На вызовъ редакціи—письма, видимо, посыпались въ изобиліи и добрая половина майскихъ и іюньскихъ нумеровъ „Сельскаго Вѣстника" сплошь ими заполнена. Явленіе это слишкомъ любопытно, и я тутъ же списалъ наиболѣе характерные отрывки...

Вотъ, напримѣръ, что пишутъ изъ Колодезской волости Козельскаго у., Калужской губ. (отъ сель-

скаго старосты с. Колодези Ивана Панькина). „Въ нашей мѣстности о писателѣ Пушкинѣ имѣютъ понятіе, во-первыхъ, тѣ, которые получили хотя небольшое образованіе въ народныхъ училищахъ, а во-вторыхъ, нѣкоторые изъ нашихъ земляковъ видѣли въ Москвѣ народный праздникъ въ честь его, когда поставленъ былъ ему памятникъ на Тверскомъ бульварѣ, потому что у насъ очень многіе, отъ малаго и до стараго, проживаютъ въ Москвѣ по кирпичнымъ заводамъ, — вотъ они-то хорошо помнятъ это торжество. Кромѣ того, у насъ молодые ребяты хорошо разыгрываютъ на гармоникѣ его „Утопленника“... Еще скажу вамъ, что есть у насъ народная примѣта: если кудрявый растетъ отрокъ, то хорошую имѣетъ способность къ ученію и долженъ быть умнымъ. А Пушкинъ былъ кудрявъ“.

Изъ Петропавло-Глинковской вол., Гжатскаго уѣзда, Смоленской губ. (отъ крестьянина дер. Полянинова Егора Назарова). „Между прочимъ народъ чтитъ Пушкина, находя въ немъ что-то особенно великое, въ подтвержденіе чего указываетъ на величественный памятникъ, поставленный ему въ Москвѣ. Какъ всегда, о великихъ людяхъ въ народѣ ходятъ разсказы, такъ точно и о Пушкинѣ говорятъ, что когда-то за слишкомъ смѣлыя и дерзскія мысли, выраженныя въ стихахъ, которые попали въ руки Императора Николая I, Пушкинъ былъ призванъ во дворецъ. Представъ передъ Государемъ, онъ не смутился. По приказанію Его, онъ прочелъ безъ тетради и книги всѣ свои произведенія безъ малѣйшей ошибки. Государь былъ удивленъ такою памятью и, цѣня русскаго великаго

писателя, отмѣнилъ назначенное ему наказаніе".

Изъ Лодзи (отъ Іосифа Гуппе). Честь имѣю довести до свѣдѣнія о Пушкинѣ слѣдующее. Насколько я помню, какъ читалъ и слыхалъ отъ старыхъ людей, какъ они вели разговоръ о Пушкинѣ и Мицкевичѣ, это были два друга неразрывные. Даже я хорошо помню, какъ читалъ объ этомъ въ журналѣ польскомъ, выходящемъ въ городѣ Краковѣ („Часъ"), въ 1877 году во время войны въ Румыніи, какъ я былъ на службѣ, и тамъ попался мнѣ полякъ изъ Галиціи, который жилъ въ томъ краѣ и получалъ эту газету. Тамъ было писано, что Пушкинъ великій человѣкъ съ большимъ умомъ и величайшій поэтъ, а въ концѣ сказано, что онъ былъ убитъ на дуэли въ Парижѣ Дантесомъ, французомъ, и что за эту гибель Пушкина отомстилъ Мицкевичъ и убилъ Дантеса тоже на дуэли. Я читалъ разные стихи Пушкина, и скажу, что душа на нихъ радуется, и человѣкъ все бы ихъ читалъ, даже и не спалъ бы,—все хорошо".

Изъ Петербурга (отъ сторожа департамента окладныхъ сборовъ Алексѣя Дорофѣева Лисицына). Редакція „Сельскаго Вѣстника" предложила своимъ подписчикамъ сказать о писателѣ Пушкинѣ кто что знаетъ и можетъ. Поэтому и я, такъ какъ состою подписчикомъ сей газеты, то и хочу высказать, что могу. Пушкина я не знаю; сочиненій его почти никогда не читалъ; но слыхалъ про него, что онъ былъ человѣкъ одаренный талантомъ отъ Бога, но, къ сожалѣнію, кончившій жизнь свою, на мой взглядъ, какъ бы не совсѣмъ по-евангельски, въ защиту чести жены своей на дуэли... Въ мага-

зинахъ продаютъ въ память его жетоны, бюстики, въ шоколадныхъ магазинахъ—коробки съ конфектами съ его изображеніемъ, даже на папиросныхъ коробкахъ изображенъ его портретъ; продолжается подписка на сооруженіе ему памятника, устраиваютъ въ память его театральныя представленія, музыкальныя собранія и т. д.,—и все это, по моему, ни къ чему иному не ведетъ, какъ только для своего собственнаго удовольствія, а не для облегченія загробной участи Пушкина, которому могла бы только помочь искренняя молитва. На мой взглядъ, было бы гораздо лучше и пріятнѣе какъ для насъ живущихъ на землѣ, такъ и для Александра Сергѣевича Пушкина, живущаго въ загробномъ мірѣ, если бы нашлись добрые люди, да въ память его добрыхъ заслугъ открыли подписку на церковь, въ которыхъ у насъ въ Россіи еще такой большой недостатокъ и въ которой бы у Престола Божія возносилась вѣчная и горячая молитва отъ лица истинно-православныхъ христіанъ, какъ за Царствующій градъ и за себя самихъ, такъ и за того, въ память кого она сооружена,—вѣдь въ ней только можно найти спасеніе и отраду какъ нашимъ душамъ, такъ и для души Пушкина, которая ни въ чемъ не нуждается теперь, кромѣ поминовенія и молитвы.

Больше я ничего не могу сказать съ своей стороны о Пушкинѣ. Если же что я высказалъ глупое или неумѣстное, то покорнѣйше прошу редакцію и читателей меня извинить".

Изъ Кирюшинской вол., Балахинскаго у., Нижегородской губ. (отъ крестьянина Павла Волынцева). „Редакція проситъ читателей „Сельскаго Вѣст-

ника“ высказать мнѣніе свое объ нашемъ русскомъ писателѣ Александрѣ Сергѣевичѣ Пушкинѣ, которому исполнится, сего мая 26-го дня, столѣтіе со дня его рожденія. Скажу, что думаю. Должны и обязаны ему за его высокій разумъ и неоцѣненный талантъ почтить память его столѣтія, кто чѣмъ можетъ... Но я думаю, что надо не только устраивать разныя иллюминаціи, маскарады и гулянья, а должны мы прежде всего поминать покойнаго у Престола Всевышняго, чтобы Господь сподобилъ его съ избранными пребывать въ небесныхъ селеніяхъ... Прошу извиненія, что я не могъ лучше выразить то, что думаю, потому что мнѣ 60 лѣтъ отъ роду,—а въ то время училищъ не было и учиться было негдѣ; поучили насъ немного дома, да учителя и сами понимали мало. А писать я выучился самъ, уже въ годахъ“.

Еще болѣе характерный примѣръ отношенія къ Пушкину представителей „стараго поколѣнія“ являетъ нижеслѣдующее письмо изъ Сычевки, Смоленской губ., отъ отставного вахтера Евдокима Коровкина.

„Наука—свѣтъ и наука есть тьма. Скажемъ о наукѣ свѣта. Св. священномученикъ Кипріянъ, котораго память 2-го октября, учился до 30 лѣтъ, былъ страшный чародѣй и съ мертвыми могъ говорить, а не могъ дѣвицы Іустины соблазнить, а покойный Пушкинъ и смерть получилъ чрезъ женскій полъ. Слѣдовательно, онъ недостоинъ, какъ мнѣ внутренній человѣкъ мой, т. е. совѣсть, говоритъ, ни юбилея, ни царства небеснаго отъ Господа Бога не заслужилъ. Мои слова основаны на Священномъ Писаніи, а именно: въ Священномъ

Писаніи сказано: пьяницы, тати и блудники не наслѣдятъ царства небеснаго, а онъ за женскій полъ и душу свою отдалъ въ руки діавола.

Св. священномученикъ Кипріянъ чрезъ св. Іустину получилъ отъ Господа Бога златъ вѣнецъ и царство небесное—это свѣтъ. А Пушкинъ—христіанинъ, а умъ свой и вѣру погубилъ чрезъ женскій полъ—это тьма.

Сочиненія Пушкина попадали мнѣ отъ продавцовъ книгъ, и я не нашелъ въ нихъ для души утѣшенія.

Совѣтую каждому православному, если только имѣетъ состояніе и время, читать и покупать книги духовнаго великаго писателя преподобнаго Ефрема Сирина. Поученія сего преподобнаго для истинно-православнаго христіанина слаще сота и меда.

Св. священномученикъ Кипріянъ причтенъ къ лику святыхъ святою церковію, а Пушкину поставлена статуя въ Москвѣ на Тверскомъ бульварѣ. Простая разница—что день, что ночь; дай Богъ и намъ получить свѣтъ, а не тьму кромѣшную, молитвами св. священномученика Кипріяна, и преподобнаго Ефрема Сирина и св. мученицы Іустины".

Представитель „молодого поколѣнія" крестьянинъ дер. Шима, Ставропольской волости, Егоръ Ефимовъ, явно возмутился такимъ отношеніемъ къ поэту и написалъ горячую отповѣдь Евдокиму Коровкину.

„Въ № 25 „Сельскаго Вѣстника" было напечатано письмо отставного вахтера Евдокима Коровкина, который доказываетъ своимъ „внутреннимъ человѣкомъ", „совѣстью", что нашъ всемірный писатель А. С. Пушкинъ царствія Божія не на-

слѣдуетъ потому будто бы, что Пушкинъ за женскій полъ отдалъ душу свою въ руки дьявола. Вотъ тутъ и думай, какіе являются въ Смоленской губерніи предвозвѣщатели: знаютъ уже, кому какая участь за гробомъ! Навѣрно Коровкинъ многому на службѣ научился; жалѣю только объ одномъ что не знаю, въ какомъ полку онъ служилъ. Но все-таки скажу, что такихъ отставныхъ вахтеровъ, какъ Коровкинъ, у насъ много, а про извѣстнаго писателя А. С. Пушкина каждый скажетъ, что онъ былъ единственнымъ человѣкомъ на всемъ земномъ шарѣ. Чѣмъ читать Коровкину книги Ефрема Сирина, такъ лучше, я совѣтую, пускай онъ хорошенько изучить св. Евангеліе, и когда будетъ знакомъ, какъ слѣдуетъ, со словомъ Божіимъ, тогда навѣрно онъ будетъ судить иначе о томъ, какъ живутъ за гробомъ такіе люди, какъ Пушкинъ, и не будетъ причислять его къ пьяницамъ, татямъ и блудникамъ, какъ онъ дѣлаетъ это теперь. Напрасно такъ Коровкинъ понялъ, и Священное Писаніе здѣсь приводитъ ни къ чему. А что касается памятника на Тверскомъ бульварѣ въ Москвѣ, такъ это пускай Коровкинъ въ свободное время подумаетъ, для чего онъ поставленъ и для чего вообще всѣ такъ желаютъ увѣковѣчить память великаго писателя Пушкина. Вотъ уже сто лѣтъ прошло, какъ Пушкинъ родился. Онъ на свѣтѣ мало жилъ, а много намъ хорошаго оставилъ. Послѣ смерти его осталось много написанныхъ имъ книгъ, которыя онъ оставилъ намъ на вѣчную о себѣ память. Пушкинъ умеръ, а дѣла его не умерли, но живы. Пускай Коровкинъ оставитъ такую о себѣ память, какъ оставилъ намъ великій писа-

тель Пушкинъ. Только намъ съ Коровкинымъ не оставить такой памяти. Намъ съ нимъ не только не поставятъ памятника въ какомъ либо-городѣ, а дай Богъ, чтобы даже на томъ мѣстѣ, гдѣ будемъ похоронены, поставили хотя простой деревянный крестъ.

„Не намъ, стало быть, и судить о такомъ человѣкѣ, какъ Пушкинъ“ *).

Дѣло, разумѣется, не обошлось безъ стиховъ. Крестьянинъ Новгородскаго уѣзда Мельниковъ, раздѣляя взглядъ о построеніи храма памяти Пушкина, заключаетъ письмо стихами:

„Да, въ честь умершаго поэта
Пусть возсіяетъ Крестъ Христовъ,
Созданный лептой всего свѣта.
Господень храмъ до облаковъ!
Туда придутъ пусть для молитвы,
Душевной радостью горя,
Молиться о душѣ поэта
И благоденствіи Царя...“

Унтеръ-офицеръ муромскаго пѣхотнаго полка Коробовъ посвящаетъ памяти Пушкина длинное стихотвореніе, изъ котораго беру три строфы:

„Онъ умеръ. Духъ его живетъ
Въ твореньяхъ чудныхъ и понынѣ,
И я надѣюсь не умретъ:
Онъ славенъ даже на чужбинѣ.

* * *

*) P. S. По свидѣтельству бывшаго редактора „Сельскаго Вѣстника“ Анатолія Александрова (инціативѣ котораго мы обязаны появленіемъ писемъ крестьянъ о Пушкинѣ) между Евдокимомъ Коровкинымъ и другими крестьянами возникла цѣлая интереснѣйшая полемика „за и противъ Пушкина“—совсѣмъ какъ между заправскими журналистами!

И мы сюда собрались нынѣ
Почтить свѣтило нашихъ дней,
Того, кто слышалъ гласъ въ пустынѣ:
„Глаголомъ жги сердца людей“.

* * *

Такъ слався-жъ Пушкинъ и Россія,
Какъ прежде, нынѣ и во-вѣкъ!
Пусть чаще праздники такіе
Встрѣчаетъ русскій человѣкъ“.

Но довольно — матеріалъ настолько обиленъ (всѣхъ писемъ до 1,000) и любопытенъ, что достоинъ отдѣльнаго изслѣдованія, а „письма крестьянъ о Пушкинѣ“—отдѣльнаго изданія...

(Кстати сказать, въ одномъ письмѣ изъ г. Мышкина сообщается народное повѣрье „что тотъ, кто прочитаетъ сочиненія Пушкина, лишится счастія въ своей жизни“—повѣріе, совсѣмъ совпадающее со взглядомъ моего „второго“ ямщика).

Не будемъ слишкомъ строги къ странностямъ, которыя попадаются въ этихъ простодушныхъ посланіяхъ, — смѣю васъ увѣрить, что отношеніе нынѣшней интеллигенціи къ русской литературѣ, вообще, и къ Пушкину, въ частности, отличается куда большими странностями. Да вотъ, не далеко ходить за примѣромъ. Нынѣшней же весной я присутствовалъ на торжественномъ спектаклѣ въ память Пушкина въ Маломъ театрѣ (петербургскомъ). Спектакль начался одноактной пьесой въ стихахъ К. К. Случевскаго „Поверженный Пушкинъ“. Несмотря на нѣкоторую туманность замысла, пьеса проникнута горячимъ чувствомъ любви къ Россіи и ея великому поэту. И что же? Публика слушала все время пьесу совершенно

апатично и даже не взволновалась торжественно-трогательной сценой поднятія статуи поверженнаго Пушкина, а по окончаніи пьесы даже не удостоила вызовомъ почтеннаго автора. Не будемъ этому удивляться, такъ какъ съ достовѣрностью можно сказать, что многіе изъ присутствовавшей на представленіи такъ называемой интеллигентной публики лишь наканунѣ юбилея Пушкина, какъ школьники передъ экзаменами, принялись перечитывать его сочиненія... Когда кончилась вторая пьеса—„Каменный Гость" Пушкина—одна изъ барышень, прогуливающихся въ фойе, кисло замѣтила: „Какъ это дико ставить на драматической сценѣ оперное либретто"; а когда окончилась послѣдняя часть программы, т. е. чтеніе Далматовымъ (кстати сказать очень удачно загримировавшимся Пушкинымъ), вдохновенной лирической поэмы: „Вновь я посѣтилъ"... при соовѣтствующей декоративной обстановкѣ, одна свѣтская барышня, выходившая изъ ложи, громко замѣтила сопутствовавшему ей свѣтскому кавалеру: „Вотъ никогда-бы не подумала, что Пушкинъ былъ похожъ на Далматова!"

Не удивлюсь ни первому, ни второму замѣчанію, такъ какъ русскій писатель, дотянувшій до сорока пяти лѣтъ, едва ли способенъ чему-нибудь удивляться въ русской жизни!... При этой оказіи мнѣ вспоминается забавный анекдотъ, котораго я былъ свидѣтелемъ на одной провинціальной вечеринкѣ, совпавшей съ первымъ появленіемъ въ свѣтъ „Крейцеровой сонаты" Л. Толстого.—Когда гости собрались, хозяйка обратилась къ одной дамѣ, недурной музыкантшѣ, съ просьбой сыграть „Крейцерову сонату"...

— Какъ... уже положили на музыку? удивился простодушно присутствующій среди гостей чиновникъ казенной палаты и сентенціозно замѣтилъ: „Однако, какъ быстро мы живемъ“!...

А вотъ я такъ думаю совсѣмъ обратно—т. е. думаю это по отношенію къ современной безпочвенной интеллигенціи, частью воспитанной на модныхъ скоропреходящихъ фразахъ, частью просто на уличныхъ листкахъ. Относительно же народа смѣю думать, что въ одинъ мѣсяцъ, послѣ „майскаго шума“, онъ больше *почувствовалъ* Пушкина (конечно, до кого дошелъ этотъ радостный шумъ), чѣмъ вся такъ называемая интеллигенція за цѣлую послѣднюю четверть вѣка!...

29 іюня.

„Чрезвычайное происшествіе! Неожиданное открытіе!!!“.

Нашелъ старуху, которая знала Пушкина...

Но, однако, не буду забѣгать впередъ и разскажу весь день по порядку...

Прежде чѣмъ обрѣсти старуху, которая знала Пушкина, посѣтилъ Святогорскую знаменитость—старика, который забылъ Пушкина или, точнѣе говоря, забылъ подробности Пушкинскихъ похоронъ, въ которыхъ принималъ участіе въ качествѣ пѣвчаго. Въ самомъ дѣлѣ, въ слободѣ Тоболенцъ до сихъ поръ здравствуетъ дряхлый старикъ—крестьянинъ Иванъ Ивановичъ Лопушниковъ, который въ памятный день 6 февраля 1837 г. „пѣлъ выносъ“... изъ котораго, къ сожалѣнію, не много

вынесъ—всего только, „что гробъ было тяжко несть, народу было совсѣмъ мало и на могилѣ служили литію“. Но уже самое прикосновеніе къ гробу великаго поэта окружило личность Ивана Ивановича въ Пушкинскіе дни нѣкотораго рода почетомъ, и онъ даже удостоился посѣщенія двухъ ученыхъ профессоровъ, спеціально пріѣхавшихъ для этого изъ Дерпта. Ученые профессора остались однако, своей ученой экскурсіей не удовлетворены и старикъ по поводу ихъ посѣщенія простодушно повѣдалъ мнѣ, „что если бъ онъ зналъ, что Пушкина такъ больно станутъ величать, то онъ бы для господъ чего-нибудь побольше разузналъ про Пушкина“. Бѣдный Иванъ Ивановичъ, испытавшій на своемъ вѣку не мало трудовъ и лишеній, лежитъ и кряхтитъ на печкѣ и явно умиленъ полтинниками и четвертаками, которые неожиданно свалились на его долю въ честь Пушкина.

Бродя по слободѣ Тоболенцъ, забрелъ я затѣмъ на сельское Святогорское кладбищѣ, живописно раскинутое въ лѣсу на горѣ, на той самой горѣ, на верху которой, по преданію, любилъ молиться блаженный Тимоѳей, пастухъ изъ пригорода Вороничь, чудесному видѣнію котораго обязанъ своимъ возникновеніемъ Святогорскій монастырь... Любимое мѣсто блаженнаго отмѣчено, въ честь его ветхой часовенкой, внутри которой похоронена, по ея настоятельному желанію, современница Пушкина и великая его почитательница, владѣлица знаменитаго Тригорскаго, Марія Ивановна Осипова. На каменной плитѣ, украшенной двумя засохшими вѣнками, значится:

Марія Ивановна
Осипова.
Род. 20 іюня 1820 года.
Сконч. 14 іюля 1896 года.

Самое кладбище, благодаря голубому цвѣту, господствующему въ окраскѣ кладбищенской церкви и могильныхъ палисадовъ, производитъ необыкновенно симпатичное впечатлѣніе... Голубая церковь, голубыя ограды кругомъ, изъ густо разросшейся травы тамъ и сямъ выглядываютъ голубые глаза васильковъ — и тишина, ничѣмъ невозмутимая, плѣнительная тишина сельскаго кладбища. На одномъ изъ крестовъ нахожу стихи:

„Прохожій, ты идешь,
А не лежишь, какъ я—
Присядь и отдохни на камнѣ у меня,
Сорви былиночку и вспомни обо мнѣ—
Что дома я, а ты въ гостяхъ:
Подумай о себѣ..."

Но кто лежитъ подъ камнемъ—неизвѣстно: памятникъ безымянный, какъ большинство сельскихъ памятниковъ—черта христіанскаго смиренія, способная привести, подчасъ, иного пытливаго изыскателя въ глубочайшее отчаяніе. Впрочемъ, кромѣ Маріи Ивановны Осиповой, сдѣлано еще исключеніе для приказчика изъ Новоржева Алексѣя Махновскаго, убитаго ночью въ мелочной лавкѣ села Тоболенцъ, о чемъ на высокомъ крестѣ гласитъ надпись:

На мѣстѣ семъ покоится прахъ
Алексѣя Махновскаго,
Павшаго отъ руки злодѣя
Въ ночь на 26 августа 1895 года.

А внизу на металлической доскѣ нескладные, но прочувствованные стихи:

„Не въ полѣ брани палъ какъ воинъ,—
Не въ дѣлѣ ратномъ былъ борцомъ
Чужое охраняя достоянье,
Рукой злодѣя былъ сраженъ.
Спи съ миромъ, мученикъ за честь,
Исполня долгъ отчизны сына,
Стяжавъ въ селеніяхъ небесныхъ
Вѣнецъ ничѣмъ незамѣнимый!“

Какая-то старушка въ черномъ платкѣ, сидѣвшая по близости на безымянной могилкѣ, украшенной вѣнкомъ изъ васильковъ, посвятила меня при этомъ случаѣ во всѣ подробности злодѣянія, взволновавшаго пять лѣтъ назадъ мирныя Святыя Горы. Но, признаться, я мало ее слушалъ — смиренная тишина сельскаго кладбища, бродившія въ головѣ мысли о Пушкинѣ и его житьѣ-бытьѣ въ Тригорскомъ и Михайловскомъ, невольно напомнили мнѣ объ одной дорогой и пока тоже безвѣстной могилѣ—могилѣ няни Пушкина. Подумаешь, сколько было писано и переписано объ этой замѣчательной старушкѣ, а гдѣ ея могила, поди, никто не знаетъ... И одновременно вспомнилось мнѣ, какъ при посѣщеніи весной Смоленскаго лютеранскаго кладбища, я натолкнулся, на большой дорогѣ, на изящный краснаго гранита памятникъ и въ глаза бросилась трогательная надпись золотыми, блиставшими на солнцѣ буквами:

„Своей незабвенной нянѣ
Государь Императоръ
Александръ III...“.

Бѣдная няня Пушкина, вздохнулъ я про себя,— гдѣ-то пріютился ея смиренный крестъ, и дождется-ли она когда-нибудь достойнаго себѣ памятника, гдѣ имя „Арины Родіоновны“, въ поученіе потомству, будетъ выгравировано золотыми буквами!.. Спрашиваю, отъ нечего дѣлать, старуху въ черномъ платкѣ, была-ли она на Пушкинскомъ праздникѣ и много-ли было народа... Старуха вся оживилась.

— Охъ, родимый, и не спрашивай... не перечесть, сколько народику — вся улица была господами полнехонька, и всѣ мокрые какъ рыбицы!..

— А ты слыхала-ли что-нибудь про няню Пушкина?

— Что ты, милый, какъ не слыхать, — у насъ, чай, въ Святыхъ Горахъ и богадѣльня на вѣчную память ей состроена...

— А вотъ, гдѣ схоронена няня Пушкина, поди, никто не знаетъ? — повѣдалъ я старухѣ вслухъ свои мысли...

Старуха на минуту призадумалась.

— Опричь Акулины Ларивоновны никто этого не можетъ знать! — замѣтила она дѣловито. — Я взволнованно насторожился.

— Опричь какой „Акулины Ларивоновны?“

— Скоропостижной, значитъ... что была замужемъ за псаломщикомъ Скоропостижнымъ. Она должна знать... она все знаетъ касательно Пушкиныхъ! — заключила она съ явнымъ почтеніемъ къ личности Скоропостижной.

— Почему же все знаетъ?—Старуха даже удивилась.

— Очень просто, потому Пушкинъ ейному тятенькѣ былъ вродѣ, какъ благодѣтель.

Отъ этого „очень просто“ я чуть не подпрыгнулъ...

— А гдѣ же живетъ эта... Акулина?

— А она и посейчасъ на Вороничѣ живетъ... отъ кладбищенской церкви рукой подать.

Но я уже не слушалъ старухи и, рискуя быть принятымъ за помѣшаннаго, почти бѣгомъ пустился съ кладбища, направляясь прямо на почтовую станцію.

Не далѣе какъ черезъ часъ, я уже подъѣзжалъ къ старинной кладбищенской церкви Воронича...

Если вы внимательно перечитывали письма Пушкина, то, можетъ быть, помните имя нѣкоего „попа Шкоды“, того самаго попа, который, по желанію Пушкина, служилъ въ церкви Воронича панихиду по Байронѣ... Два отрывка изъ письма Пушкина, одно къ брату поэта, Льву Сергѣевичу, а другое къ князю П. А. Вяземскому изъ Михайловскаго, отъ 7 апрѣля 1825 г., отмѣчаютъ этотъ характерный фактъ. Вотъ первый отрывокъ: „Я заказалъ обѣдню за упокой души Байрона (сегодня день его смерти), Анна Николаевна также, и въ обѣихъ церквахъ Тригорскаго и Воронича происходили молебствія — это немножко напоминаетъ la messe de Frédéric II pour le repos de l'âme de m-r de Voltaire. Вяземскому посылаю вынутую просвиру отцомъ Шкодой за упокой поэта“... А вотъ и подтвержденіе о посылкѣ въ письмѣ князю Вяземскому изъ села Михайловскаго отъ того же числа: „Нынче день смерти Байрона. Я заказалъ

съ вечера обѣдню за упокой его души. Мой попъ удивился моей набожности и вручилъ мнѣ просвиру, вынутую за упокой раба Божія боярина Георгія. Отсылаю ее къ тебѣ"...

Дочь этого самаго попа — Ларіона Раевскаго, извѣстнаго больше подъ прозвищемъ „Шкоды", вышедшая замужъ за псаломщика Скоропостижнаго, и явилась предметомъ моей скоропостижной поѣздки. Дальнѣйшія свѣдѣнія относительно Акулины Ларіоновны еще болѣе возвеличили ее въ моихъ глазахъ. Кромѣ того, что она была дочерью попа, служившаго историческую панихиду по Байронѣ, она еще приходилась крестницей двоюроднаго дяди Пушкина—Веніамина Петровича Ганнибала.

Какъ разъ первое, что мнѣ бросилось въ глаза, когда я вошелъ въ кладбищенскую ограду—намогильная плита по лѣвую сторону церкви, потрескавшаяся и поросшая мохомъ, на которой я, однако, могъ отчетливо разобрать:

Здѣсь положенъ прахъ
Помѣщика села Петровскаго
Веніамина Петровича
Аннибалъ.

Въ чреватыхъ воспоминаніяхъ Льва Павлищева очень живо рисуется оригинальная фигура покойнаго, игравшаго, кстати сказать, не послѣднюю роль во время пребыванія Пушкина въ селѣ Михайловскомъ. Отличный хозяинъ, опытный агрономъ и страстный охотникъ, онъ былъ, какъ всѣ Ганнибалы, отмѣнный хлѣбосолъ и чуть-ли не благодаря ему слово „гостепріимство" было замѣ-

нено надолго въ Опочецкомъ уѣздѣ словомъ „ганнибальщина“. Вдобавокъ, онъ былъ большой руки весельчакъ и искренній любитель музыки, и организовалъ въ своемъ Петровскомъ цѣлый оркестръ музыки, причемъ являлся не только въ качествѣ капельмейстера, но и въ качествѣ композитора. Имъ, какъ извѣстно, была положена на музыку пѣсня Земфиры изъ „Цыганъ“: „Старый мужъ, грозный мужъ“, особенно усердно распѣвавшейся въ семействѣ Осиповыхъ въ Тригорскомъ. По словамъ Сергѣя Львовича, своей приверженностью къ стихамъ Пушкина онъ даже заразилъ своихъ дворовыхъ. Его неизмѣнный спутникъ по охотѣ, рыжій цирюльникъ и горькій пьяница, Прохоръ, набивая охотничій ягташъ подстрѣленной дичью, напѣвалъ изъ „Братьевъ разбойниковъ“:

„Какая смѣсь одеждъ и лицъ,
Племенъ, нарѣчій, состояній!“..

а его судомойка „толстуха Глашка“, выучила наизусть съ начала до конца „Бахчисарайскій фонтанъ“. Презабавный анекдотъ сообщаетъ про эту самую Глашку Сергѣй Львовичъ въ письмѣ къ сестрѣ поэта Ольгѣ Павлищевой... „Вчера мы всѣ хохотали до упаду: Веніаминъ Петровичъ вызывалъ Глашку изъ кухни насъ потѣшать декламаціей изъ „Евгенія Онѣгина“. Глашка встала въ третью позицію и закричала во все горло:

„Толпою нимфъ окружена
Стоитъ Истомина: она
Одной ногой касаясь пола,
(Глашка встаетъ на ципочки)
Другою медленно кружитъ
(Глашка поворачивается)

И вдругъ прыжокъ и вдругъ летитъ,
Летитъ какъ пухъ изъ устъ Эола"...

Глашка тутъ прыгаетъ, кружится, дѣлаетъ на воздухѣ какое-то антраша, и падаетъ невзначай на полъ. Расквасивъ себѣ носъ, громко реветъ и опрометью бросается на кухню".

Всѣ эти полузабавныя-полутрогательныя подробности невольно промелькнули передо мной, когда я стоялъ надъ этой забытой нынѣ ганнибальской плитой. Рядомъ съ ней—простой могильный холмъ, густо заросшій травой, въ которой привѣтливо улыбаются васильки. Это могила приснопамятнаго „попа Шкоды". Такимъ образомъ прежде чѣмъ познакомиться съ Акулиной Ларіоновной Скоропостижной, мнѣ суждено было невзначай поклониться сначала ея родителю и крестному отцу. Самое знакомство съ г-жей Скоропостижной произошло очень просто и оригинально.

Пребываніе мое на кладбищѣ не прошло незамѣченнымъ — черезъ какія-нибудь пять минутъ я былъ окруженъ деревенской дѣтворой, не безъ любопытства глазѣвшей на человѣка, удостоившаго своимъ вниманіемъ заглохшее сельское кладбище... Обращаюсь къ стоявшей подлѣ меня дѣвчуркѣ въ красномъ платочкѣ, похожей на „красную шапочку".

— Не знаешь-ли ты, милая, гдѣ живетъ Акулина Ларіоновна Скоропостижная?

— „А сейчасъ черезъ дорогу!"—и она указала мнѣ на стоящую на краю оврага покосившуюся избушку на курьихъ ножкахъ.—Да вотъ они сами сюда идутъ..." — добавила она, кивая на показавшуюся у воротъ кладбища старуху и весело за-

кричала, махая руками: „Бабушка, бабушка: какой-то господинъ желаетъ васъ видѣть“!!

Я почтительно приподнялъ шляпу...

Ко мнѣ приближалась высокая, худощавая женщина, очень бѣдно, но очень чистоплотно одѣтая—въ поношенной ситцевой кофтѣ и юбкѣ, черной съ бѣлыми крапинками, съ чернымъ платкомъ на головѣ, изъ-подъ котораго наружу серебрились двѣ гладкія пряди сѣдыхъ волосъ. Лицо почти пергаментное, но черты лица тонкія и правильныя, и черные впалые глаза хранили живость и пріятность. Въ общемъ, отпечатокъ былой несомнѣнной красоты и какого-то неуловимаго благородства во всѣхъ пріемахъ, какой замѣчается у простыхъ женщинъ, нѣкогда жившихъ счастливой и достаточной жизнью.

Послѣ первыхъ привѣтствій, Акулина Ларіоновна пригласила меня къ себѣ и черезъ какія-нибудь десять минутъ я уже сидѣлъ за самоваромъ на маленькомъ, почернѣвшемъ отъ времени балкончикѣ, съ котораго открывался чудесный видъ на Вороничь и Тригорское. Трудно, признаться, передать въ стройномъ порядкѣ полусвязную рѣчь старухи, перевалившей за восьмой десятокъ и вылавливавшей въ своей слабѣющей памяти случайные остатки далекаго прошлаго... А это прошлое хорошее было, веселое, жила она тогда не въ этой подслѣповатой, почернѣвшей избенкѣ, а въ двухъэтажномъ домѣ, и въ домѣ была всякаго добра полная чаша... и самое свѣтлое пятно этого невозвратнаго, милаго прошлаго—никто иной, какъ Пушкинъ. По временамъ, когда

старуха вспоминала про Пушкина, лицо ея прямо молодѣло...

— Покойный Александръ Сергѣевичъ очень любили моего тятеньку,—повѣствовала она своимъ надтреснутымъ старушечьимъ голосомъ подъ шумокъ самовара:—И къ себѣ въ Михайловское тятеньку приглашали и сами у насъ бывали совсѣмъ запросто... Тое самое кресло, въ которомъ они сидѣли, когда бесѣдовали съ тятенькой, я много лѣтъ, какъ зеницу ока, берегла...

— Куда же оно дѣлось?

— Кресло-то? Сгорѣло, милый мой, сгорѣло!— вздохнула она.—Какъ нашъ большой домъ горѣлъ, много всякаго добра погорѣло...—Старуха грустно поникла головой.

— Такъ, значитъ, вы помните, какъ къ вамъ пріѣзжалъ Пушкинъ?

— Вотъ еще не помнить! — усмѣхнулась Акулина Ларіоновна и вся опять оживилась: — Какъ сейчасъ помню... подъѣдетъ это верхомъ къ дому и въ окошко плетью цокъ: „Попъ у себя?“ спрашиваетъ. (Старуха произнесла это энергично, съ достоинствомъ закинувъ голову, видимо подражая манерѣ Пушкина). А если тятеньки не случится дома, завсегда прибавитъ: „Скажи, красавица, чтобъ безпремѣнно ко мнѣ навѣдался... мнѣ кой о чемъ потолковать съ нимъ надо!“ И очень они любили съ моимъ тятенькой толковать,—пояснила она съ видимымъ удовольствіемъ: — потому, хотя мой тятенька былъ совсѣмъ простой человѣкъ, но умъ имѣлъ смѣтливый, и крестьянскую жизнь и всякія крестьянскія пословицы и приговоры весьма примѣчательно зналъ... Я такъ про себя полагаю,—

замѣтила она благодушно:—что Пушкинъ черезъ евонные разговоры кой-чего хорошаго въ свои сочиненія прибавлялъ!

Несомнѣнно этого „кой-чего хорошаго", благодаря ему, попало въ трегедію „Борисъ Годуновъ", въ сцену въ корчмѣ, напримѣръ... Вороничь, вообще, игралъ не послѣднюю роль въ литературныхъ матеріалахъ Пушкина и онъ даже юмористически помѣчаетъ имъ окончаніе знаменитой трагедіи, въ одномъ изъ писемъ къ князю П. А. Вяземскому (отъ 13 іюля 1825 г.): „Писалъ рабъ Божій Александръ, сынъ Сергѣевъ Пушкинъ, въ лѣто 7333, на городищѣ Вороничѣ".

Она немного помолчала и продолжала.—Только вотъ на счетъ „божественнаго" они съ тятенькой не всегда сходились и много споровъ у нихъ черезъ эсто выходило. Другой разъ тятенька вернется изъ Михайловскаго туча тучей, шапку швырнетъ: — Разругался я, говоритъ, сегодня съ михайловскимъ бариномъ вотъ до чего — ушелъ, прости Господи, даже не попрощавшись... Книгу онъ мнѣ какую-то богопротивную все совалъ—такъ и не взялъ, осердился!—А глядишь, двухъ сутокъ не прошло — Пушкинъ самъ катитъ на Вороничь, въ окошко плеткой стучитъ: „Дома попъ?" спрашиваетъ: — „Скажи, говоритъ, я мириться пріѣхалъ!" Простодушный былъ баринъ, отходчивый... — заключила старуха, улыбнувшись. — Позвольте, я вамъ еще чаю налью?

Чтобъ не обидѣть хозяйку, я протянулъ свою чашку, хотя, признаться, мнѣ было вовсе не до чая. Хотѣлось еще и еще подробностей о Пушкинѣ до самыхъ мелочей—какъ онъ былъ одѣтъ,

когда заѣзжалъ въ Вороничь, какова была въ то время его наружность, и т. п. Вопросъ объ одеждѣ заставилъ почтенную Акулину Ларіоновну на минуту задуматься.

— Какъ былъ одѣтъ?—повторила она про себя и дѣловито пояснила: — Обнакновенно какъ... по настоящему, по барскому: брюки въ одну полосу, завсегда во фракѣ... и ногти большущіе, пребольшущіе!—А и потѣшникъ же былъ покойникъ,—добавила она, что-то вспомнивъ:—Иной разъ вдругъ возьметъ по крестьянскому передѣнется и въ село на ярманку отправится. Мужикъ мужикомъ—въ армякѣ съ круглымъ воротомъ, красный шелковый кушакъ у пояса... И какъ гдѣ много сѣраго народу собравшись — онъ тутъ какъ тутъ... а они знай по своему козыряютъ, всякія шутки промежду себя пропускаютъ—не смекаютъ, значитъ, что самъ баринъ съ ними братается. Вотъ чудилъ покойникъ... вотъ чудилъ... Старуха, улыбаясь, закачала головой. Что ты думаешь—разъ увязался со мной въ рощу по грибы... Пойдемъ, говоритъ, грибы собирать, красавица — у меня говоритъ острый глазъ на всякій грибъ!..

— И много грибовъ съ Пушкинымъ набрали? нескромно полюбопытствовалъ я.

Акулина Ларіоновна отрицательно закачала головой, и въ глазахъ ея на мгновеніе мелькнули веселые огоньки.

— Наберешь грибовъ, болтая съ такимъ краснобаемъ! замѣтила она добродушно:—Какіе ужъ тамъ грибы—все больше шутки шутилъ... кузовъ-то вовсе пустой принесть пришлось...—Старуха запнулась и какъ-то полуконфузливо потупилась, видимо

взволнованная неожиданно нахлынувшимъ воспоминаніемъ о своей первой веснѣ.

Я тоже призадумался... Вспомнился мнѣ какъ-то невольно, видѣнный съ мѣсяцъ тому назадъ на „петербургской Пушкинской выставкѣ“, портретъ А. П. Кернъ въ старости... Боже мой, во что обратилась героиня знаменитаго романса—въ сморщенной, строгой старухѣ, въ высокомъ чепцѣ и съ чулкомъ въ рукѣ, едва можно было бы признать безъ подписи „Милую Керну“, кружившую голову поэту въ Тригорскомъ... Въ этомъ отношеніи моя собесѣдница, несмотря на болѣе почтенный возрастъ, куда характернѣе сохранилась—и, глядя на нее въ минуты ея особаго оживленія, можно было повѣрить, что Пушкинъ не даромъ величалъ ее красавицей.—Акулина Ларіоновна... Акулина! Ахъ, чортъ возьми, да ужъ не она ли сама передо мною, знаменитая „красавица Акулина“—„Барышня-Крестьянка“, плѣнившая „Тугиловскаго барина“?... Черты былой красоты и двойственное положеніе полубарышни-полукрестьянки, отражавшіяся въ ея манерѣ даже теперь, въ глубокой старости,—давало законный поводъ сдѣлать такое предположеніе. Наконецъ, самое имя „Акулины“ и предательское „погрибы“—все подкрѣпляло мое случайное озареніе, что Акулина Ларіоновна въ значительной степени послужила оригиналомъ героини извѣстной повѣсти, а сцена свиданія въ лѣсу Алексѣя Берестова со смуглой Акулиной, ея фраза: „Однако, болтая съ тобою, грибовъ не наберешь“ и т. п.—было явнымъ отголоскомъ невинной прогулки Пушкина по грибы съ нынѣ здравствующей Акулиной Ларіоновной. „Барышня-Крестьянка“, какъ извѣстно,

написана въ Болдинѣ, но кто внимательнѣе прочтетъ повѣсть, легко убѣдится, что сюжетъ ея „пережитъ“ въ предѣлахъ Григорскаго и Воронича... (Такъ, гувернантка „Барышни-Крестьянки“ миссъ Жаксонъ—несомнѣнный косвенный списокъ съ гувернантки Осиповыхъ m-lle Bénoit, о которой упоминается въ мемуарахъ А. П. Кернъ).

Я рѣшилъ первый нарушить наше меланхолическое молчаніе.

— А какъ, по-вашему, Акулина Ларіоновна... красивый былъ Пушкинъ?

Старуха очнулась, и глаза ея снова засмѣялись.

— Ну, какой красивый... никогда онъ не былъ красивый! просто замѣтила она.—Такъ, здоровый былъ на видъ, полный, а только такой обрюзгшій... А какъ послѣдній разъ въ Михайловское пріѣзжалъ, что-то ужъ больно вдругъ постарѣлъ — видно, не сладко ему жилось въ вашемъ Петербургѣ...

Мнѣ кстати вспомнился мраморный бюстъ Пушкина, поставленный при входѣ въ Святогорскую богадѣльню, и я освѣдомился у Акулины Ларіоновны, была ли она въ Святыхъ Горахъ и видѣла ли бюстъ.

— Была, какъ не быть... А какъ вошла въ богадѣльню, такъ и ахнула: живой смотритъ на меня Александръ Сергѣевичъ, совсѣмъ живой... Я еще тутъ со старухами посмѣялась—какимъ его хорошенькимъ вывели... много чего вдругъ вспомнилось! Хотѣла я тогда же на могилку къ нему сходить... да, признаться, поостереглась: думаю себѣ— влѣзть-то на гору я влѣзу, а назадъ-то, пожалуй,

живой и не слѣзешь. Такъ и не пришлось поклониться барину дорогому! заключила она со вздохомъ и почему-то вдругъ всплакнула.

— Что съ вами, Акулина Ларіоновна? Никакъ вы плачете?..

— Какъ же, милый мой, мнѣ не плакать... я каждый разъ плачу, какъ вспомню про себя, во сколько намъ безъ Пушкина плохое житье стало!..

— А вы гдѣ жили, когда Пушкинъ умеръ, все тутъ же, на Вороничѣ?

— Нѣтъ, я въ ту пору уже замужемъ была... за Михаиломъ Алексѣевичемъ, за Скоропостижнымъ, и проживали мы въ Опочкѣ. Какъ вдругъ пріѣзжаетъ тятенька вовсе разстроенный: „Осиротѣли мы, говоритъ, дочка... прибрали нашего благодѣтеля!“ А самъ плачетъ и на икону крестится... Охъ, много плачу у насъ тогда въ дому было!!—добавила она, слезливо сморкаясь... и затѣмъ продолжала, глядя въ сторону какъ бы про себя, выдавая вслухъ свои наболѣвшія чувства:—Что и говорить, безбѣдно мы существовали, благодаря Александру Сергѣевичу, во всемъ справно... ни въ чемъ недостатку не видѣли. Окромя многихъ милостей, царство ему небесное, Александръ Сергѣевичъ моему тятенькѣ цѣльныхъ семь десятинъ земли пожертвовалъ и собственной своей рукой документъ на пользованіе выправилъ...

— У васъ до сихъ поръ хранится эта бумага?— Акулина Ларіоновна опять заморгала глазами...

— Ой, лучше, родной, не поминай... не растравляй моего сердца!.. Нѣтъ у меня больше ни бумаги, ни полнаго права... ничего у меня нѣтъ те-

перь — всего мы лишились съ прóклятымъ пожаромъ... и кресло Пушкина тоже погорѣло, и евонныя сочиненія, что онъ тятенькѣ дарилъ, и царскіе портреты...

— Какіе такіе царскіе портреты?

— А тоже, значитъ, Пушкинскій подарокъ—портреты царской фамиліи на стеклѣ, очень даже искусно написанные. Самъ и привезъ тятенькѣ: — „Царь, говоритъ, живетъ далеко, вы никогда царя не видѣли — такъ вотъ, говоритъ, посмотрите“... Охъ, много всякаго добра было—все, значитъ, пожаръ погубилъ... до послѣдняго документа!!..

Бѣдная Акулина Ларіоновна была такъ разстроена тяжелымъ воспоминаніемъ о роковомъ пожарищѣ и, въ особенности, гибелью драгоцѣнной бумаги, написанной собственной рукой Пушкина, безъ которой владѣніе семью Пушкинскими десятинами являлось недѣйствительнымъ, что дальнѣйшее живое теченіе бесѣды дѣлалось затруднительнымъ. Кромѣ того, преклонные годы брали свое—старуха была видимо утомлена продолжительной, хотя и близкой ея сердцу, бесѣдой. Впрочемъ, на прощанье я получилъ два-три отрывочныя свѣдѣнія... Сообщила она, между прочимъ, про своего крестнаго отца Веніамина Петровича Ганнибала, что она плохо его помнитъ — помнитъ только, что онъ былъ сильно черный, совсѣмъ какъ арапъ, и она въ дѣтствѣ очень его боялась... Припомнила также, что когда Пушкина везли хоронить, то везли „черезъ Вороничъ“, и въ церкви Воронича онъ ночевалъ (причемъ — знаменательное обстоятельство — тотъ же попъ Шкода, который служилъ, по желанію Пушкина, панихиду по Байронѣ, служилъ въ той же

церкви панихиду по самомъ Пушкинѣ). Относительно няни Пушкина она „за вѣрное“ мнѣ сообщила, что няня схоронена въ Петербургѣ, и т. д.— При этомъ она постоянно извинялась, что много кой чего забыла.—Шумъ въ головѣ у меня, и глуховата я что-то стала въ послѣднее время! — пояснила старуха, какъ бы въ оправданіе, и добродушно добавила: — Что дуракъ, что глухой человѣкъ — все одно!..

Такъ или иначе, но надо было ѣхать. Вдобавокъ, со стороны Святыхъ Горъ надвигалась внушительная грозовая туча и я сталъ прощаться. Акулина Ларіоновна еще разъ поохала по поводу погибшей Пушкинской грамоты и кстати похвалила „Михайловскую генеральшу“, т. е. жену сына Пушкина. „Нечего сказать, добрая барыня не оставляетъ меня: когда сучьевъ дастъ набрать, когда коровай хлѣба выдастъ“.

Я уѣхалъ изъ Воронича, напутствуемый самыми сердечными пожеланіями.

Несмотря, однако, на добрыя пожеланія, на полдорогѣ я попалъ подъ сильную грозу и вымокъ, что называется, до костей. Но на этотъ разъ я мало сокрушался объ этомъ, ибо имѣлъ сегодня „une bonne fortune“, какъ выразился Пушкинъ въ письмѣ къ своей женѣ, найдя въ деревнѣ Бердѣ старуху казачку, которая помнила Пугачева... Смѣю полагать, что моя находка въ посадѣ Вороничь будетъ повыше чиномъ!!..

30 іюня.

Сегодняшнее утро посвятилъ бѣглому осмотру Михайловскаго и Тригорскаго.—Какъ передать то

счастливое волненіе, которое испытывалъ я, подъѣзжая къ знаменитому Михайловскому домику... И—первое, что мелькнуло въ моемъ воображеніи—трогательная картина Гэ „Пушкинъ въ селѣ Михайловскомъ“, снимокъ которой, вотъ уже слишкомъ двадцать лѣтъ, неизмѣнно украшаетъ стѣну надъ моимъ письменнымъ столомъ:

„...Поэта домъ опальный,
О, Пущинъ мой, ты первый посѣтилъ“... *)

И сейчасъ же мелькнула другая картина, еще болѣе реальная и еще болѣе трогательная, нарисованная самимъ И. И. Пущинымъ... 11 января 1825 года. Опальный домъ, занесенный снѣгомъ, едва видѣнъ и въ снѣжныхъ сугробахъ, передъ самымъ домомъ, увязли чьи-то незнакомыя сани... Но дадимъ слово самому Пущину:

„Я оглядываюсь: вижу на крыльцѣ Пушкина, босикомъ, въ одной рубашкѣ, съ поднятыми вверхъ руками. Не нужно говорить, что тогда во мнѣ происходило. Выскакиваю изъ саней, беру его въ охапку и тащу въ комнату. На дворѣ страшный холодъ, но въ иныя минуты человѣкъ не простужается. Смотримъ другъ на друга, цѣлуемся, молчимъ. Онъ забылъ, что надобно прикрыть наготу, я не думалъ объ заиндевѣвшей шубѣ и шапкѣ. Было около восьми часовъ утра. Не знаю, что дѣлалось. Прибѣжавшая старуха застала насъ въ объятіяхъ

*) Не могу не отмѣтить, кстати, одной печальной общественной черты: картина Гэ, нынѣ столь популярная, при первомъ своемъ появленіи на выставкѣ встрѣчена была полнѣйшимъ равнодушіемъ и, если бъ не живое участіе поэта Некрасова... осталась бы непроданной!..

другъ друга въ томъ самомъ видѣ, какъ мы попали въ домъ: одинъ почти голый, другой — весь забросанный снѣгомъ. Наконецъ, пробила слеза (она и теперь, черезъ тридцать три года, мѣшаетъ писать въ очкахъ), мы очнулись. Совѣстно стало передъ этою женщиной, впрочемъ, она все поняла. Не знаю за кого приняла меня, только ничего не спрашивая, бросилась обнимать.. Я тотчасъ догадался, что это добрая его няня, столько разъ имъ воспѣтая, и чуть не задушилъ ее въ объятіяхъ".

Теперь, спустя семьдесятъ пять лѣтъ, посѣтителя опальнаго дома охватываетъ невольное разочарованіе. Благодаря бывшему управляющему наслѣдниковъ поэта Громову, котораго вѣрнѣе бы назвать „Разгромовымъ", камня на камнѣ не осталось отъ дорогой старины... Даже стоявшая въ лѣсу на пути къ Михайловскому старинная часовня, въ которой старики Пушкины, по исконному помѣщичьему обычаю, служили напутственный молебенъ въ дни отъѣзда изъ имѣнія, часовня весьма чтимая окрестными крестьянами... и та варварски снесена съ лица земли. Одна мѣстность вокругъ все та же—живописная, улыбающаяся, очаровательная...

„Вотъ холмъ лѣсистый...", а вотъ широко раскинувшееся у его подножія озеро Малинецъ...

Какъ во времена Пушкина, такъ и теперь

„Черезъ его невѣдомыя воды
Плыветъ рыбакъ и тянетъ за собой
Убогій неводъ..."

Но, увы, знаменитыхъ трехъ сосенъ, что стояли „одна по-одаль, двѣ другія другъ къ дружкѣ близко"... уже нѣтъ... „Двѣ другія" были истреблены по случаю какого-то пограничнаго спора, а та, что

стояла „по-одаль“ — разбита бурей въ 1895 году... Остатокъ ее, хранящійся въ Михайловскомъ, въ сараѣ, мнѣ обязательно показалъ нынѣшній управляющій Пушкиныхъ В. В. Черниговскій. Тутъ же около, къ стѣнѣ сарая, прислонена большая доска— доска знаменитаго пушкинскаго билліарда... Почему она прислонена къ стѣнѣ сарая... а не къ стѣнѣ Пушкинскаго музея — довольно-таки непонятно, какъ многое, впрочемъ, на Руси!.. Въ сосѣднемъ сараѣ хранится также рѣдкость, никѣмъ почему-то до сихъ поръ не отмѣченная: черная широкая долгушка съ высокимъ кузовомъ, на которой везли тѣло Пушкина со станціи Островъ. При этомъ случаѣ я вспомнилъ объ Акулинѣ Ларіоновнѣ и злополучной Пушкинской грамотѣ, и управляющій вполнѣ подтвердилъ достовѣрность ея разсказа. (Прочитавъ впослѣдствіи кропотливое изслѣдованіе псковскаго археолога И. И. Василёва о пребываніи Пушкина въ Псковской губерніи, я въ немъ нашелъ также косвенное подтвержденіе словъ старухи о панихидѣ надъ поэтомъ въ церкви Воронича и т. п.).

Къ сожалѣнію, управляющій ничего не могъ мнѣ сообщить, что будетъ далѣе съ домомъ Пушкина, послѣ его поступленія къ казну. Опальный домъ, заново перестроенный, свѣже выкрашенный, съ лоснящимися полами и чисто вымытыми окнами, но безъ признака какой-нибудь обстановки внутри, своей пустынностью производилъ весьма удручающее впечатлѣніе и видъ его точно спрашивалъ: „Что-то, господа, со мной теперь будетъ?!“ Около него, тревожно посматривая на мою незванную ревизію, шептались двѣ какія-то старухи изъ быв-

шей челяди А. А. Пушкина, прожившія какъ оказалось полвѣка при домѣ и вопрошавшія уже живыми голосами: „Что-то съ нами будетъ?!“ Подъ впечатлѣніемъ этого грустнаго недоумѣнія, я сѣлъ въ тарантасъ и двинулся далѣе на Тригорское...

Дорогой, мой ямщикъ, состоявшій во время Пушкинскаго праздника кучеромъ земскаго начальника и потому судившій о Пушкинѣ нѣсколько свысока, свезъ меня въ сторону къ поселку Савкино, откуда я взобрался на большую гору, господствующую надъ всею мѣстностью и представляющую изъ себя величавый остатокъ древняго сторожевого вала—живописный пунктъ, на которомъ Пушкинъ одно время мечталъ построить себѣ жилище. Объ этомъ обстоятельствѣ за вѣрное сообщилъ мнѣ мой ямщикъ, и подтвержденіе чему я нашелъ затѣмъ въ одномъ изъ писемъ Пушкина къ Парасковьѣ Александровнѣ Осиповой... „Къ слову сказать: если бы я не боялся быть нескромнымъ, то попросилъ бы васъ, какъ добрую сосѣдку и добраго друга моего, увѣдомить меня, нельзя ли мнѣ пріобрѣсть Савкино и на какихъ условіяхъ. Я построилъ бы здѣсь избушку, помѣстилъ бы свои книги и пріѣзжалъ бы проводить нѣсколько мѣсяцевъ въ кругу моихъ добрыхъ и старыхъ друзей. Что вы скажете, сударыня, о моихъ воздушныхъ замкахъ, или о моей избушкѣ въ Савкинѣ? Что до меня, я въ восхищеніи отъ этой мысли и она ежеминутно приходитъ мнѣ въ голову“...

Полунасмѣшливо прищурясь, ямщикъ передалъ мнѣ, между прочимъ, старинную молву о томъ, какъ Пушкинъ сочинялъ свои стихи: „будто въ саду у него была пригната такая особая хитрая

бесѣдка, вся уставленная по полкамъ бутылями наливки, — Пушкинъ, значитъ, хлопъ стаканчикъ, другой... и пошелъ писать!"—нелѣпая сказка, державшаяся еще въ тридцатыхъ годахъ въ Болдинѣ, о чемъ самъ Пушкинъ сообщаетъ въ одномъ изъ своихъ писемъ къ женѣ изъ Болдина съ обычнымъ своимъ благодушіемъ. Непонятная вещь, какимъ образомъ могла она не только пережить Пушкина, но даже перекочевать изъ Нижегородской губерніи въ Псковскую!..

Когда показалось вдали Тригорское, я не могъ не выразить вслухъ моего восторга по поводу, вообще красоты здѣшней мѣстности. Ямщикъ мой, привычнымъ окомъ окинулъ очаровавшій меня пейзажъ, и, помахивая кнутомъ, снисходительно замѣтилъ:

— Ничаво, слава Богу — много хорошихъ мѣстовъ гдѣ Пушкинъ могъ себѣ сочиненіе имѣть!

— Это что налѣво... Вороничъ?.. А направо, кажется, рѣка Сороть!..

— Это точно — налѣво Вороничь, а направо Сорть. И добавилъ полунасмѣшливо: — А только сначала совсѣмъ иначе было, встарину то исть. Былъ, значитъ, просто городъ Ворона и рѣка Сорока... а это ужь господа такую пріятность себѣ сдѣлали, чтобы старину по новому окрестить, по барскому!—Онъ обдернулъ подолъ своей поношенной, табачнаго цвѣта рубахи и лихо подхлестнулъ лошадей, очевидно, чтобы придать нѣкоторую торжественность нашему въѣзду въ Тригорское.

О Тригорскомъ такъ много писано и переписано, что мнѣ не приходится внести въ мою записную книжку ничего новаго... Остается только подтвердить лишній разъ то удовольствіе, которое

испытывали всѣ паломники Тригорскаго, найдя въ немъ, въ противоположность Михайловскому, трогательные остатки старины. Благодаря любезности молодого человѣка, сына нынѣшняго арендатора Тригорскаго, я имѣлъ возможность осмотрѣть все въ подробности, начиная съ полированнаго столика, за которымъ занимался Пушкинъ и съ котораго его поклонницы ободрали всю клеенку, до любимаго мѣста поэта на берегу красавицы Сороти; видѣлъ даже толстый сѣдлообразный сукъ, на которомъ любилъ сидѣть Пушкинъ... Между прочимъ, въ гостиной, на столѣ, я нашелъ очень интересный карандашный портретъ Пушкина, мало извѣстный и безъ подписи художника, но кстати сказать, весьма схожій съ тѣмъ реальнымъ описаніемъ наружности Пушкина, который сдѣлала Акулина Ларіоновна. Вообще, въ домѣ въ Тригорскомъ, цѣлый маленькій музей вещей, напоминающій о Пушкинѣ... И очень жаль, если онъ почему нибудь разрознится, а не попадетъ въ одинъ общій большой Пушкинскій музей, которому рано или поздно должно возникнуть въ Петербургѣ по примѣру Суворовскаго!..

Съ этими золотыми мечтаніями я покинулъ гостепріимное Тригорское, гдѣ каждый уголокъ напоминаетъ Пушкина и гдѣ безсмертныя строфы великаго поэта, обвѣяны не менѣе безсмертной музыкой Глинки и Чайковскаго... Надо было спѣшить въ Святыя Горы, чтобы кое-что занести въ свою записную книжку и прибраться заблаговременно въ дальній путь...

„Простите мирныя дубравы!
Прости безпечный миръ полей!!...“

1—3-го іюля.

Возвращаюсь обратно другой дорогой — кружнымъ путемъ на Новоржевъ и Порховъ... Прежде чѣмъ сѣсть въ телѣжку, взобрался еще разъ, послѣдній, на Святую Гору... чтобы проститься съ могилой Пушкина. Съ дорожной сумкой черезъ плечо и съ маленькимъ томикомъ лирическихъ стихотвореній Пушкина въ карманѣ пальто, опустился я на колѣни передъ знакомой бѣлой рѣшеткой, ограждающей это священнѣйшее для каждаго русскаго писателя мѣсто... Въ волненіи я не замѣтилъ, какъ завѣтный томикъ выскользнулъ изъ моего кармана и, когда я поднялся съ колѣнъ, онъ лежалъ раскрытый у подножья могилы его автора и—по странной случайности — раскрытый какъ разъ на самой послѣдней страницѣ, на недописанномъ стихотвореніи, заключающемъ отдѣлъ черновыхъ набросковъ:

„О нѣтъ, мнѣ жизнь не надоѣла,
Я жить хочу, я жить люблю!
Душа не вовсе охладѣла,
Утратя молодость свою.
Еще хранятся наслажденья
Для любопытства моего,
Для милыхъ сновъ, воображенья
Для чувствъ . . . . . всего.
Зачѣмъ . . . . .
Могилу темную . . . . .
Что въ смерти добраго?...“

Впечатлѣніе неожиданно получилось потрясающее... Конечно, и прежде не разъ пробѣгалъ я этотъ чудесный лирическій отрывокъ, но лишь теперь, въ обстановкѣ, такъ сказать, послѣдняго сви-

данія съ могилой поэта, я почувствовалъ всѣмъ существомъ моимъ его сокровенный трагическій смыслъ, точно кто шепнулъ вдругъ подъ ухо недоговоренное слово... Боже мой, да вѣдь это настоящій вопль души — души, глубоко изстрадавшейся, но все еще страстно любящей жизнь и, въ то же время, неясно томимой неотступнымъ предчувствіемъ смерти. Всего какихъ-нибудь десять строкъ—но въ нихъ цѣлая симфонія возвышеннѣйшихъ человѣческихъ чувствъ, не менѣе потрясающая по силѣ впечатлѣнія, чѣмъ обширная патетическая симфонія Чайковскаго... Въ моихъ ушахъ точно сейчасъ отдается слышанный нѣсколько лѣтъ тому назадъ въ концертѣ, щемящій сердце, грозный аккордъ, вѣнчающій лебединую пѣснь великаго композитора, и я безпомощно тоскливо шепчу про себя:

„Зачѣмъ . . . могилу темную...
Что въ смерти добраго?...“

А кругомъ — улыбалось своей жизнерадостной улыбкой ослѣпительное и знойное іюльское утро, въ изумрудной чащѣ надъ могильнымъ памятникомъ беззаботно заливались птицы и внизу, подъ горой, весело звякали бубенцы почтовой тройки, напоминавшіе паломнику Святыхъ Горъ, что пора ѣхать. Что дѣлать—пора!..

Прощайте, Святыя Горы, прощайте святые „Пушкинскіе уголки“... прости, великая укоризненная могила — да оберегаетъ тебя на вѣчныя времена своей живой оградой любовь русскаго народа!!...

Станція „Алтунъ“—первая станція отъ Святыхъ Горъ... Однако, никакихъ слѣдовъ Пушкинскаго торжества незамѣтно. На одной стѣнѣ станціонной комнаты — литографированный портретъ генерала Петрова, а на другой—залитый кофеемъ, листъ съ лубочнымъ изображеніемъ Аѳонской горы и стихами, далеко не Пушкинскими:

„На вопль куміровъ Аполлона
Спѣшатъ Марію всѣ встрѣчать,
И узнаютъ толпы Аѳона
Въ ней Бога истиннаго Мать.
И ликъ свой всѣмъ она являетъ,
Бесѣду давъ рабамъ своимъ,
Сама судьбой ихъ управляетъ
И бдитъ надъ бытомъ ихъ земнымъ“...

Тутъ же, на столѣ, рядомъ съ книгой для записыванія претензій, валяется клочокъ чьего-то письма, написаннаго безъ всякихъ претензій и, очевидно, забытаго какой-нибудь заѣзжей незнакомкой: „Милая Липа, какъ то ты доѣхала до златоглавой Москвы? Я здѣсь, слава Богу, ничего. Почему Петька ничего не пишетъ, если увидишь его, скажи ему, что онъ пестрая свинья. Пока писать больше нечего. Смотри не забудь купить ванильныхъ сухарей у Виноградова для Лизаветы Даниловны. Твоя Саня“.

Больше ничего интереснаго на станціи Алтунъ не нашелъ...

Самое интересное началось отъ станціи Алтунъ—лѣса, озера, чаще стали попадаться деревни... Вдобавокъ, ямщикъ попался тоже преинтересный—мрачный, дюжій, лицомъ вылитый портретъ писателя Короленко, только съ бѣлокурой бородой.

Когда, проѣхавъ первую деревню, мы очутились въ глухомъ лѣсу, онъ первый нарушилъ молчаніе...

— Что я вамъ, баринъ желаю, разсказать? началъ онъ, попридерживая лошадей и закуривая трубку.

— Ну?..

— Вотъ какъ вы сейчасъ со мной ѣдете, годовъ пять назадъ ѣхалъ, на Новоржевъ со Святыхъ Горъ, примѣрно, одинъ московскій купецъ, богатый такой, важный, часы съ краснымъ звономъ—а только вовсе пьяный. — Онъ помолчалъ, какъ бы собираясь сообщить что-то важное, значительно крякнулъ и полуобернувшись ко мнѣ, доложилъ съ видимымъ удовольствіемъ: — И вотъ ентово самаго купца... въ ентомъ самомъ лѣсу, я, значитъ, взялъ да и обобралъ!

У меня, признаться, екнуло сердце.

— Какимъ же это образомъ? спросилъ я, стараясь придать своему голосу оттѣнокъ полнаго равнодушія.

— А такъ, очень даже просто—развязалъ, значитъ, я свой языкъ и пристращалъ ентово самаго купца, быдто онъ за цѣльный перегонъ деньги запамятовалъ отдать—быдто это, значитъ, въ Алтунѣ я за него свои кровные пожертвовалъ...

— А онъ и повѣрилъ?

— Извѣстно, повѣрилъ—пьяный человѣкъ всякой сатанѣ вѣритъ. Полѣзъ это онъ за пазуху, вынулъ толстущій, претолстущій бумажникъ и цѣльныхъ два рубля мнѣ отсчиталъ, даже не крякнулъ!..

— Что же дальше?

Ямщикъ удивленно обернулся въ мою сторону:

— Дальше обнаковенно что — изъ Новоржева купецъ проѣхалъ на Порховъ, а тамъ, значитъ, и вовсе сгинулъ, безъ всякаго, можно сказать, подозрѣнія.

У меня отлегло на сердцѣ. Теперь я удивился въ свою очередь...

— Къ чему же это все ты мнѣ разсказываешь?

Ямщикъ мой тяжко, претяжко вздохнулъ.

— Извѣстно къ чему... чтобы, значитъ, совѣсть свою ослобонить. Я каждому, значитъ, проѣзжающему завсегда мой грѣхъ разсказываю... для облегченія участи! мрачно заключилъ онъ. — Ну, вы, краденные? внезапно, съ какимъ-то ожесточеніемъ, взвизгнулъ онъ на своихъ добродушныхъ вятокъ и телѣжка запрыгала по ухабамъ, какъ шальная...

— Вотъ она, матушка Русь! Вы, петербургскіе, нутка?..

Вотъ, наконецъ, и Новоржевъ, тотъ самый Новоржевъ, по поводу котораго Пушкинъ, еще въ 1824 году, сказалъ:

„Есть на свѣтѣ городъ Луга
Петербургскаго округа—
Хуже не было-бъ сего
Городишки на примѣтѣ...
Если-бъ не было на свѣтѣ
Новоржева моего *).

*) Эта антипатія Пушкина къ Новоржеву, по своему постоянству, весьма характерна. Почти то же самое, только въ прозѣ, повторяетъ онъ спустя нѣсколько лѣтъ А. О. Смирновой: „Некрасивыхъ пейзажей нѣтъ! Жизнь есть вездѣ, даже подъ снѣгомъ и среди самой убогой природы. Некрасивыми могутъ быть только города и хуже всѣхъ ихъ Новоржевъ, ближайшій городъ къ Михайловскому! (Записки А. О. Смирновой).

Пушкинскій стихъ оказался пророческимъ — вышло такъ, что и теперь, т. е. спустя семдесятъ пять лѣтъ, Новоржевъ произвелъ не лучшее впечатлѣніе!.. По внѣшнему виду „городишка“, если хотите, довольно оригинальный... Вы въѣзжаете въ широкую и длинную улицу, застроенную одноэтажными и двухэтажными домами, по правую и лѣвую сторону дороги синѣютъ озера, точно настоящее море вокругъ огромной дамбы, и когда, мимо собора, городской думы и базара, вы доѣзжаете до конца улицы — шабашъ... Новоржевъ позади васъ, и вы опять вольный странникъ на бѣломъ свѣтѣ!..

Съ такимъ немудренымъ устройствомъ охотно можно было бы помириться, еслибъ не цѣпенящая скука, висящая въ новоржевскомъ воздухѣ и выходящая, вѣроятно, изъ озеръ вмѣстѣ съ утреннимъ туманомъ... Милосердный Боже, какая скучища! Много на своемъ вѣку изъѣздилъ я всякихъ городовъ и городишекъ, но такой неперевариимой скучищи еще нигдѣ не встрѣчалъ... Кромѣ визгливой оравы мальчишекъ, которые бѣгали нагишемъ на берегу одного изъ озеръ, близь городскаго сада, и широко пользовались, согласно послѣднему слову науки, водой, воздухомъ и свѣтомъ,—всѣ остальные живые совершеннолѣтніе существа, коихъ мнѣ приходилось встрѣчать, бродили уныло, повѣся носъ, точно связанные пожизненнымъ обѣтомъ молчанія... Сунулся въ городской садъ—то же уныніе и безмолвіе, даже у буфета, впрочемъ, находящагося подъ покровительствомъ мѣстнаго попечительства трезвости. Иду къ выходу, направляясь обратно въ номера, гдѣ

остановился, и вдругъ слышу въ концѣ сада у самаго забора — смѣхъ, шутки, а сверху изъ окна высокаго бѣлаго дома льется разухабистая пѣсня... Подхожу къ забору... и что же? Пѣсня льется изъ окна острога, а смѣется и шутитъ кучка дюжихъ загорѣлыхъ арестантовъ, копающая какую-то канаву подъ наблюденіемъ сонливаго сухопараго надзирателя. Странный городъ, странные нравы! Арестанты живутъ какъ люди, а люди живутъ какъ арестанты и, видимо, завидуютъ расположенію духа послѣднихъ...

Изъ слѣдовъ недавняго Пушкинскаго торжества замѣтилъ, по дорогѣ, „единственный", въ окнѣ одного изъ магазиновъ—носовой платокъ съ портретомъ поэта... изъ чего вывелъ, что новоржевцы не чужды мстительнаго чувства и прибѣгаютъ къ Пушкину лишь въ крайнемъ случаѣ.

Вернулся я въ номеръ съ умысломъ плотно пообѣдать и отдохнуть съ дороги. Не тутъ-то было!.. Хозяйка номеровъ, гдѣ я остановился, созналась мнѣ, что передъ самымъ моимъ приходомъ зарѣзала послѣдняго цыпленка для какой-то проѣзжей дьяконицы и не знаетъ какъ быть, и направила меня въ новоржевское благородное собраніе, гдѣ по ея увѣренію, меня ожидалъ роскошный пиръ.

Въ благородномъ собраніи, похожемъ съ виду на плохую дачу въ Новой Деревнѣ, я нашелъ портретъ масляными красками покойнаго городскаго головы и не нашелъ ни обѣда, ни буфетчика. Послѣдній, съ трудомъ розысканный гдѣ-то на заднемъ дворѣ, въ цвѣтистыхъ выраженіяхъ пояснилъ мнѣ, что главнымъ благороднымъ занятіемъ въ новоржевскомъ благородномъ собраніи считается

„винтъ“, а все остальное, какъ неблагородное, оставлено въ пренебреженіи. Результатомъ этой дворянской традиціи было то, что вмѣсто обѣда, я едва выклянчилъ—и то какъ исключеніе для туриста, сдѣлавшаго полсотни верстъ—миніатюрную телячью котлетку и бутылку лимонадъ-газесу. Такимъ образомъ вернулся я въ „номера“, какъ говорится, не солоно хлебавши и, ложась въ постель, припомнилъ, въ утѣшеніе, подобное же гастрономическое меню безпечальнаго времени красносельскихъ маневровъ, когда наша рота, сдѣлавши утомительный переходъ, почти ничего не нашла въ деревенской лавкѣ, ограбленной раньше прошедшими войсками, и на нашу долю, шести здоровыхъ юнкеровъ, достался фунтъ ситника и жестянка монпасье!..

Утромъ, чуть свѣтъ, меня разбудилъ оглушительный трубный гласъ. Отдернувъ оконный занавѣсъ, я увидѣлъ на дорогѣ, подъ самыми окнами, нѣсколько коровъ и шествующаго преважно позади ихъ младенца-пастуха. Пастухъ — совсѣмъ мальчикъ съ пальчикъ, въ живописно накинутой на плечи рогожной мантіи и въ надвинутой на глаза высокой мурмолкѣ, трубилъ, что есть силы, въ длиннѣйшую металлическую трубу, величиною приблизительно съ верстовой столбъ, одну изъ тѣхъ, вѣроятно, отъ которыхъ пали іерихонскія стѣны; трубилъ онъ настойчиво и пронзительно и, при этомъ, совершенно въ упоръ топтавшейся передъ нимъ пестрой коровѣ, которая, въ свою очередь, добродушно помахивала хвостомъ и, повидимому, вполнѣ была довольна исполняемой въ честь ея серенадой... У крыльца уже стояла пара добро-

нравныхъ конякъ, около которыхъ хлопоталъ сонливый и лохматый парень, предупредительно подвязывавшій бубенчики, дабы не нарушить мирнаго сна обывателей...

Черезъ четверть часа, я уже сидѣлъ въ тарантасѣ и покидалъ Новоржевъ. До Порхова оставалось цѣлыхъ три станціи: Ашевка, Сорокино, и Дубровка. Но въ Ашевкѣ оказалась ярмарка и это обстоятельство задержало меня болѣе, чѣмъ слѣдовало, такъ что въ Дубровкѣ я вынужденъ былъ переночевать...

Ярмарка въ Ашевкѣ...

Ярмарка, какъ ярмарка, мало чѣмъ отличающаяся по первому впечатлѣнію отъ „Сельской ярмонки“ Некрасова:

„Хмѣльно, горласто, празднично,
Пестро, красно кругомъ“...

Если, по случаю ранняго часа, не особенно еще хмѣльно и горласто, то очень пестро и красно... даже рѣчка, пересѣкающая ярмарку, красная—покраснѣвшая, вѣроятно, отъ негодованія, вслѣдствіе предосудительнаго сосѣдства фабрики.—Въ глазахъ мелькаютъ колеса, снасти, ведра, хомуты, горшки и—ситцы, ситцы, ситцы... Цѣлое пестрое море ситца, въ которомъ пропадаютъ бабы, босыя и обутыя, бѣдныя и зажиточныя, пропадаютъ съ совершенно тѣмъ же упоеніемъ, какъ наши барыни въ какомъ-нибудь парижскомъ „A bon marché“.

Среди мужскаго, преимущественно молодого, поколѣнія, сколько я могъ замѣтить, большой эффектъ производитъ московская новинка — „ка-

рамель Пушкинъ", продолговатая коробка съ портретомъ Пушкина и картинками изъ его сочиненій. Это въ нѣкоторомъ родѣ „крикъ ярмарки"... Передъ одной изъ такихъ карамельныхъ палатокъ замѣчаю высоченнаго, глазастаго парня, съ гармоникой подъ мышкой, который съ явнымъ умиленіемъ разсматриваетъ изображенную на крышкѣ коробки сцену бала изъ „Евгенія Онѣгина" и, потѣя, по-складамъ, съ грубо мужицкимъ удареніемъ на „о", одолѣваетъ подпись подъ картинкой:

„Скажи мнѣ, князь, не знаешь ты
Кто тамъ въ малиновомъ бѐ-ретѣ
Съ посломъ испанскимъ говòритъ?"

Подхожу и довольно безцеремонно освѣдомляюсь — слыхалъ ли онъ что-нибудь о Пушкинѣ. Парень какъ будто даже обидѣлся:

— Какъ такъ не слыхать—у насъ уши, чай, не канатомъ заклепаны. Извѣстно кто былъ... изъ быта сочинителевъ!—И, какъ бы извиняясь, добавилъ:— А только дождь гораздъ былъ подъ Вознесеніе на Святыхъ Горахъ, а то бы мы куды больше про Пушкина разузнали!!..

Охъ, ужъ этотъ дождь, въ самомъ дѣлѣ,—много онъ повредилъ Пушкинскому торжеству не только въ матеріальномъ, но даже и въ духовномъ отношеніи!.. Больше всего, конечно, испортилъ онъ крови милѣйшему П. Ф. Карпову, который столько трудовъ положилъ по пріему званныхъ и незванныхъ гостей... Книжныхъ ларьковъ на ашевской ярмаркѣ я что-то не замѣтилъ и карамель-просвѣтитель оказалась, такимъ образомъ, единственнымъ утѣшительнымъ явленіемъ.

Отъ Ашевки попался прекурьезный ямщикъ— курносый, вихрастый, въ полосатой драной рубахѣ и, при этомъ, съ такимъ премногодовольнымъ выраженіемъ на своемъ кругломъ, какъ блинъ, весноватомъ лицѣ, какого мнѣ давно не случалось видѣть на человѣческой физіономіи.

— Тебя какъ звать-то? полюбопытствовалъ я, когда мы двинулись въ путь.

— Меня-то? Петрушка! беззаботно отозвался онъ и, Богъ вѣсть съ чего, лицо его расплылось въ сплошное удовольствіе.

— А по фамиліи какъ?

— А никакъ...

— Развѣ у тебя нѣтъ фамиліи?

— Выходитъ, что нѣтъ. — И съ какимъ-то неуловимымъ комическимъ подчеркиваніемъ пояснилъ: — Видно, я въ уголку стоялъ, когда фамиліи раздавали! — Затѣмъ онъ какъ-то жизнерадостно причмокнулъ и продолжалъ: — А только, безъ фамиліи, куды веселѣе существовать — безъ всякой натяжки, значитъ... на манеръ жаръ-птицы!—Послѣднее сравненіе, вѣроятно, ему самому показалось смѣшно, потому что онъ неожиданно разрѣшился громкимъ заразительнымъ смѣхомъ. Я тоже не могъ удержаться отъ смѣха, и чтобы поддержать разговоръ, освѣдомился грамотный ли онъ.—Онъ отрицательно мотнулъ своей кудлатой головой:

— Нѣ, зачѣмъ грамотный!.. И добавилъ, какъ бы въ утѣшеніе самому себѣ.—Ничего, слава Богу живемъ, хлѣбъ жуемъ и безъ грамотовъ... Вотъ Лопухинскій Евстигнѣй чуть не цѣльнаго Пушкина на память вытвердилъ, а ему рендатель взялъ,

да и сбавилъ харчевые... Мой Петрушка весь какъ-то забавно покачнулся и съѣхалъ на самый край облучка.—И очень, значитъ, я своей линіей доволенъ и ничаво сверхъ положенія въ жизни не желаю!.. заключилъ онъ на-распѣвъ, почти восторженнымъ тономъ и, взмахнувъ кнутомъ, ухарски присвистнулъ на своихъ смиренно ковылявшихъ конякъ.—Эхъ вы, сорокинскіе проказники!!.. Проказники встрепенулись и прибавили шагу.

Не проѣхали мы и половины пути, какъ совершенно между собою подружились. Я въ шутку прозвалъ его „Петромъ Ивановичемъ Уксусовымъ“ и угостилъ папиросами, а онъ, въ свою очередь, угостилъ меня забавнымъ и не особенно скромнымъ анекдотомъ, какъ и подобало Петру Ивановичу. Кромѣ того, что онъ былъ природный комикъ, онъ былъ также и несомнѣнный бабникъ. Записываю анекдотъ дословно, насколько сохраняетъ мнѣ память, опуская, разумѣется, нѣкоторые, черезчуръ смѣлые обороты.

— Вотъ какой у насъ на селѣ случай былъ!.. началъ „Петръ Ивановичъ“, когда разговоръ отъ Пушкина и обстоятельствъ его дуэли перескочилъ на тему женской невѣрности вообще.—Купецъ у насъ есть жанатый, господинъ Судопалатовъ, и встрѣтилъ онъ, значитъ, въ Порховѣ своего кума, тоже купца, только вдоваго. Зашли въ трактиръ, выпили по малости, дѣло до бабъ дошло. Пріятель и говоритъ, вдовый значитъ: „Всякая баба, говоритъ, шельма“! А господинъ Судопалатовъ сейчасъ въ примѣръ свою супругу.—Чего, говоритъ, на бѣломъ свѣтѣ не бываетъ, а только мою Лизавету Аѳиногеновну не обойтить!!—Пріятель только въ бороду

смѣется.—„Ежели только говорить, тонкимъ манеромъ взяться и Лизавету Аѳиногеновну обойтить возможно!“ Ладно—побились объ закладъ на пятьдесятъ рублевъ... Купецъ, значитъ, въ городѣ задержался, а пріятель прямо изъ трактира къ Лизаветѣ Аѳиногеновнѣ, будто на ночлегъ, какъ обнаковенный проѣзжающій. Захватилъ это, между прочимъ, четыре бутылки рябиновой, закусокъ разныхъ—ничего говоритъ не жалѣю для вашей прелестной личности. А Лизавета Аѳиногеновна хоть бы что, даже отъ рябиновой уклоняется. Дѣло такимъ манеромъ дошло до той точки, что онъ ей за разрушеніе закона цѣльной сотенной посулился. А она ему сейчасъ новый отводъ:—Ежели, говорить вы въ такомъ опасномъ распаленіи чувства, я вамъ могу Антониду выслать, значитъ, ейную работницу. А онъ не отстаетъ и шабашъ. — Мнѣ говоритъ вовсе не Антониду надо-ть, а желательно настоящей любовной звѣзды!..

— Ну что-жъ... добился таки своего?

Петръ Ивановичъ полупрезрительно усмѣхнулся.

— Извѣстно добился... Какъ же это возможно, чтобъ мужчина, ежли съ характеромъ, такой пакости не достигъ!.. Затѣмъ мой разсказчикъ какъ-то хитро прищурился и полуобернувшись ко мнѣ таинственно доложилъ:—А только онъ, значитъ, не будь промахъ—все время въ воображеніи свой закладъ держалъ и, какъ значитъ баба притомилась, сейчасъ ей на лѣвомъ боку печать наложилъ!

— Интересно, что же вышло дальше!

— А дальше вышло вовсе даже необнакновенно. На третій день, значитъ, пріѣзжаетъ самъ—и виду

нисколько не показываетъ, будто закладъ былъ. – Здравствуй, Лизанька, здравствуй, милая! Запылился я въ дорогѣ—вели, родная, баньку затопить!— Тутъ-то вся кляуза, значитъ, и обнаружилась... Откуда, кричитъ, у тебя энта чортова печать на боку? Та такъ и обомлѣла, слова не можетъ изобрѣсти—ей, значитъ, про печать невдогадъ было. Ахъ, ты такая сякая! Кричитъ работницу:—Скидай, говоритъ, свою работницкую рвань и одѣвай барынинъ казакъ. Сейчасъ ты у меня будешь на манеръ барыни!.. А Лизаветѣ Аѳиногеновнѣ повелѣлъ работницей одѣться.—А ты, говоритъ, паскудница, Антониду исполняй!.. И что ты думаешь, болѣе полугода, ее въ чужомъ сословіи промаячилъ, можно сказать, на срамъ всей губерніи".

— Нечего сказать—характеръ.

— Нѣтъ, ты послухай баринъ, что дальше было!— Онъ весело мотнулъ головой, закурилъ у меня свой потухшій окурокъ и продолжалъ. Дѣтей, значитъ, у нихъ вовсе не было, а тутъ какъ на грѣхъ, и девяти мѣсяцевъ не вышло, какъ Лизавета Аѳиногеновна двойню принесла—чернаго мальченка и рыженькаго. Вотъ тутъ-то господинъ Судопалатовъ и показалъ свой настоящій характеръ.—Рыжій, говоритъ, голопузъ—это мой, кровный, а черный никакъ иначе какъ со стороны, вслѣдствіе значитъ заклада! И вотъ поди жъ ты,—рыжаго окрестилъ вполнѣ по христіанскому обряду, гостей на крестины назвалъ, все какъ слѣдоваетъ; а чернаго на манеръ арапа вовсе безъ купели оставилъ—самъ благочинный усовѣщевалъ, никакъ переупрямить не смогъ. Не мой, говоритъ, не желаю его существа удостовѣрять документомъ!..

— Ну а какже на счетъ жены?

— Ничего, сейчасъ послѣ крестинъ, снова въ барыню ее передѣлъ и живутъ душа въ душу, будто никакого заклада въ жизни не случалось... А черный мальченокъ у Афимьи, коровницы, на прокормленіи состоитъ—ништо ему, такой глазастый да проворный, ровно вѣкша...—Мой Петръ Ивановичъ даже прищелкнулъ языкомъ отъ видимаго удовольствія, что все обошлось въ лучшемъ видѣ.—А вотъ и Сорокино видать! заключилъ онъ уже съ нескрываемымъ восторгомъ, указывая кнутомъ на виднѣвшійся впереди хохлатый лѣсокъ и, съ удалымъ присвистомъ, стегнулъ по лошадямъ...

На станціи Сорокино мнѣ пришлось проболтаться, въ ожиданіи лошадей, болѣе двухъ часовъ. Къ счастью, благодаря „Карамели Пушкинъ", я сдѣлалъ поучительнѣйшее знакомство въ лицѣ маляра изъ Опочки, рѣшительно почему-то уклонившагося назвать свою фамилію и смиренно отрекомендовавшагося „Леонтіемъ Маркеловичемъ"...

Прогуливаясь по селу, подсѣлъ я на лавочку около какой-то неказистой избенки и, отъ нечего дѣлать, вынулъ изъ кармана коробку съ просвѣтительной карамелью...

— Никакъ карамель Пушкина изволите кушать? раздается около меня чей-то почтительный и пѣвучій голосъ... Поднимаю голову и вижу, какъ разъ около себя, подъ зеленымъ зонтикомъ березы небольшую кургузую фигуру съ лысой головой, схожей съ головой Сократа и глазами на выкатѣ—въ общемъ довольно комическую фигуру, но въ тѣни мало примѣтную. На незнакомцѣ была розо-

вая косоворотка, потертый гороховый спинжакъ и, выглядывавшее рядомъ изъ травы горлышко сороковки, краснорѣчиво предупреждало, что ея сосѣдъ слегка на-веселѣ и расположенъ къ откровенности. Въ виду этого, я не счелъ нужнымъ особенно церемониться и прямо приступилъ къ дѣлу.

— А вы знакомы съ Пушкинымъ?

— Я то-съ... знакомъ ли я съ Пушкинымъ?— Онъ весь какъ-то уморительно сморщился и саркастически расхохотался:—Да я, можетъ, его „Царя Бориса“ больше сорока разовъ прошелъ!! выпалилъ онъ свирѣпо ударяя себя въ грудь—и, поднявъ указательный палецъ кверху, со сверкающими глазами, трагически прошипѣлъ:

„Борисъ, Борисъ! все предъ тобой трепещетъ,
Никто тебѣ не смѣетъ и напомнить
О жребіи несчастнаго младенца,
А между тѣмъ . . . . . “

— Дозволите закурить?—неожиданно оборвалъ онъ себя, обращаясь ко мнѣ самымъ мирнымъ тономъ. Этотъ непредвидѣнный эффектъ невольно заставилъ меня улыбнуться.

— Сдѣлайте ваше одолженіе! И я поспѣшилъ ему протянуть коробку съ папиросами. Онъ церемонно выловилъ себѣ папироску и, почти захлебываясь отъ восторга, заключилъ:

— Да-съ замѣчательная, душеспасительная пьеса! Высокій, пронзительный умъ надо получить отъ господа Бога, чтобъ всякую язву наружу вывесть!!

Слово за слово—разговорились. Чудакъ сидѣвшій подъ бѣлой березой, по-китайски поджавши

подъ себя ноги, оказался своего рода философомъ. Хотя онъ, конечно, не читалъ Джона Рескина, но былъ убѣжденный врагъ машинъ и фабрикъ...

— По моему сужденію—разглагольствовалъ онъ, медленно покуривая и пуская изъ носу какія-то затѣйливыя кольца дыма:—фабрика есть самая убійственная исторія для нашей націи! Какіе спрашивается бѣлки у фабричнаго? Какіе такіе соки?.. Прямо сказать—уничтоженіе живого человѣчества!.. Всѣ эти изобрѣтательности, по моему, ни къ чему... все въ томъ направленіи, чтобъ живое существо продешевить.—Взять теперь лицепедъ или опять окаянное электричество... Такъ все больше пригоняютъ, чтобъ всякую мѣстность ослѣпительнѣй сдѣлать, а не о томъ, значитъ, чтобъ у человѣка внутрѣ освѣтить.—Онъ тяжко, претяжко вздохнулъ:—И все я, между прочимъ, о томъ задумываюсь: какой такой человѣкъ на Руси выищется, который настоящій бальзамъ въ крестьянскую душу пропуститъ?!. Потому у многихъ теперь въ простомъ быту, у самыхъ, можно сказать, закарузлыхъ, искра внутрѣ горитъ,—а только вырваться ей наружу никакъ нельзя, по случаю стѣснительнаго положенія и неправильности промежду сословій... Или вотъ тоже сказать—„казенка“ премного, подлая, отравы вокругъ распространяетъ...—Онъ полупрезрительно сплюнулъ въ сторону своей сосѣдки-сороковки и съ какимъ-то полувдохновеннымъ порывомъ воскликнулъ:—Охъ, если бъ мы себя забрали, послѣ „освобожденія“, въ руки и въ порокъ не пустились—можетъ Россія была бы пьедесталомъ для всего шара!!...

Онъ еще много и интересно проповѣдывалъ въ

томъ же духѣ... но, Боже мой, есть ли какая-нибудь возможность дорожному усталому человѣку записать обстоятельно въ запыленной дорожной книжкѣ все то безконечно интересное, что попадается на пути... Схватываешь суть, главныя впечатлѣнія, а мелочи и подробности исчезаютъ неуловимо въ суетѣ первой желѣзнодорожной станціи вмѣстѣ съ первымъ свисткомъ паровоза...

Впрочемъ, надо признаться, до самаго Порхова ничего интереснаго не попадалось... Отъ станціи Сорокино до Дубровки меня везъ какой-то ледящій мужиченко, который, вдобавокъ, выклянчилъ довести до первой деревни свою бабу. Баба, въ противоположность мужу, оказалась толстая, претолстая и, при всемъ этомъ, если такъ можно выразиться, до безстыдства стыдливая. Она почему-то низачто не хотѣла сѣсть рядомъ съ мужемъ „спиной къ барину", считая это въ высшей степени непристойнымъ и предпочла помѣститься на облучкѣ, такъ сказать „задомъ на передъ", лицомъ ко мнѣ, причемъ подолъ ея единственной юбки постоянно раздувался какъ пузырь, по временамъ чуть не закрывая меня съ головой... Предоставляю судить читателю насколько выиграли отъ этого интересы нравственности!...

Хозяинъ станціи Дубровка, куда я прибылъ поздно вечеромъ, оказался неразговорчивымъ и мрачнымъ мужчиной и походилъ въ темнотѣ на Кащея Безсмертнаго. Мрачно поставилъ онъ мнѣ на столъ самоваръ, мрачно принесъ мнѣ въ жестянкѣ отъ сардинокъ сдачу и мрачно обѣщалъ разбудить меня ровно въ три часа пополуночи.— Дѣйствительно, ровно въ три часа ночи, въ стѣну, ря-

домъ съ набитымъ кирпичами диваномъ, на которомъ я спалъ, раздался такой внушительный стукъ что сверху посыпалась известка и я вскочилъ, какъ помѣшанный. Черезъ четверть часа, плохо выспавшійся, съ заспаннымъ ямщикомъ на облучкѣ, который вовсе не выспался и дорогой наверстывалъ потерянное,—двинулся на Порховъ...

Въ началѣ шестого часа утра, главная улица города Порхова огласилась прежестокимъ барабаннымъ боемъ, отъ котораго обыватели, спавшіе на лѣвомъ боку, несомнѣнно, перевернулись на правый—это барабанилъ мой тарантасъ по булыжной мостовой города Порхова... До поѣзда въ Псковъ оставалось всего какихъ-нибудь двадцать минутъ и надлежало спѣшить, минуя архитектурныя красоты, попадавшіяся по пути...

Впрочемъ, на одномъ изъ поворотовъ сердце мое запрыгало вмѣстѣ съ тарантасомъ—я увидѣлъ небольшое одноэтажное каменное зданіе, похожее на амбаръ, на фасадѣ котораго значилось: „Народный Театръ“.

„О ты, предчувствіе души моей, сбылось!“ продекламировалъ самодовольно я про себя... Подумаешь, какихъ-нибудь восемь—девять лѣтъ тому назадъ, когда идея народнаго театра еще смутно носилась въ воздухѣ, выкликнулъ я впервые свой полуробкій призывъ на страницахъ блаженной памяти „Артиста“, а теперь, не угодно ли?.. Здѣсь, въ особенности, среди пустынной улицы невѣдомаго захолустья, въ разсвѣтѣ просыпающагося дня, неожиданный призракъ народнаго театра показался мнѣ прямо какимъ-то чудеснымъ сномъ... Слѣзаю съ тарантаса и съ жадностью впи-

ваюсь въ обрывки воскресной афиши, уцѣлѣвшей на стѣнѣ:

ГОРОДЪ ПОРХОВЪ.

СОНЪ ВЪ РУКУ.

.....въ одномъ дѣйствіи.

Цѣны мѣстамъ: отъ 5 до 10 копѣекъ.

Дѣйствительно, сонъ въ руку ... одинъ изъ немногихъ сбывшихся сновъ моей горемычной писательской жизни!!

Домъ, гдѣ скончалась няня Пушкина.

Если вы петербуржецъ и вамъ не разъ случалось сворачивать съ Гороховой улицы въ Казачій переулокъ, то вы вѣроятно запримѣтили, по лѣвую сторону переулка, каменный двухъэтажный домъ, старинной стройки, выходящій угломъ къ Егоровскимъ банямъ (домъ Дмитріева, № 6). Очень жаль, если вы его не запримѣтили! Этотъ скромный по виду, желтенькій, съ красной желѣзной крышей, домъ — своего рода знаменитость. Обратите особенное ваше вниманіе на нижній этажъ дома, на ту его половину, что приходится по лѣвую руку отъ воротъ, т.-е. на пять оконъ, принадлежащихъ въ настоящее время, какъ свидѣтельствуетъ вывѣска, иконописной мастерской Петра Іоновича Ноговицына. Въ январѣ 1828 г., слишкомъ семьдесятъ лѣтъ назадъ, въ этой самой квартирѣ поселилась родная и единственная сестра Александра Сергѣевича Пушкина—Ольга Сергѣевна, перевѣнчанная незадолго передъ тѣмъ, тайно отъ своихъ родителей, съ чиновникомъ иностранной колегіи Николаемъ Ивановичемъ Павлищевымъ. (Впослѣдствіи онъ игралъ довольно видную роль въ Варшавѣ, при графѣ Паскевичѣ). Здѣсь Ольга Сергѣевна Павлищева прожила слишкомъ

четыре года и эта скромная квартирка, благодаря уму и любезности хозяйки, сдѣлалась вскорѣ завиднымъ средоточіемъ цѣлаго ряда знаменитостей... Кого только, спрашивается, не видѣли стѣны дома Дмитріева, опекаемаго нынѣ внукомъ прежняго домовладѣльца С. А. Дмитріевымъ и какимъ-то чудомъ уцѣлѣвшаго до нашихъ дней, не смотря на семидесятилѣтній промежутокъ, въ своемъ прежнемъ видѣ? Поэтъ Мицкевичъ дружески бесѣдовалъ здѣсь съ А. С. Пушкинымъ и услаждалъ гостей своими художественными импровизаціями; здѣсь авторъ „Жизни за Царя“ и „Руслана и Людмилы“—пѣлъ впервые, въ тѣсномъ кружкѣ: „Я помню чудное мгновенье“, въ присутствіи самого поэта и героини вдохновенныхъ строфъ— А. П. Кернъ; здѣсь читали свои стихи В. А. Жуковскій, Е. А. Баратынскій и баронъ Ант. Ант. Дельвигъ; ближайшіе друзья Пушкина П. А. Плетневъ и С. А. Соболевскій здѣсь были своими людьми... Словомъ, художникъ, которому бы пришла счастливая мысль воспроизвести на полотнѣ вечеринку въ квартирѣ Павлищевыхъ, нашелъ бы подъ рукою цѣлую галлерею историческихъ портретовъ! Само собою разумѣется, что тутъ перебывала вся Пушкинская родня Ольги Сергѣевны до красавицы Натальи Николаевны включительно. Излишне говорить, что самымъ желаннымъ гостемъ былъ самъ Пушкинъ, который дѣлился здѣсь съ сестрой своими радостями и печалями, своими литературными вдохновеніями, житейскими невзгодами и тайными душевными предчувствіями (смотри интереснѣйшія „Воспоминанія о Пушкинѣ“ Л. Н. Павлищева, сына О. С.). На эту близость отчасти указываютъ

двѣ строки изъ письма Пушкина къ Нащокину отъ 7-го октября 1831 года: „Отвѣчай мнѣ какъ можно скорѣе въ Петербургъ, въ Казачьемъ переулкѣ, въ домъ Дмитріева, О. С. Павлищевой для доставленія А. С. П.“.

Отсюда же поэту суждено было проводить свою любимую няню, Арину Родіоновну, въ ея послѣднее жилище... По выходѣ замужъ Ольги Сергѣевны, старушка, стосковавшаяся по своимъ „Пушкенятамъ“, перебралась изъ села Михайловскаго къ своей старшей питомицѣ въ Петербургъ, надѣясь, вѣроятно, также няньчить дѣтей Павлищева, какъ выняньчила въ свое время все новое поколѣніе семьи Пушкиныхъ. Но, увы, таковымъ ея надеждамъ не пришлось осуществиться: въ концѣ 1828 года, т.-е., въ самый годъ своего переѣзда въ Петербургъ, она скончалась на рукахъ О. С. Павлищевой, въ помянутомъ домѣ Дмитріева, на восьмомъ десяткѣ отъ рожденія. Въ какомъ мѣсяцѣ скончалась, какого числа, когда и гдѣ схоронена— все это, къ искреннему прискорбію искреннихъ почитателей Пушкина, остается пока покрыто мракомъ неизвѣстности и составляетъ, надо сознаться, въ обстоятельныхъ воспоминаніяхъ Л. Павлищева весьма существенный и досадный пробѣлъ.

Когда, спустя годъ, до поэта Языкова дошла вѣсть о кончинѣ няни А. С. Пушкина, онъ написалъ свои извѣстные, вылившіеся прямо изъ сердца стихи:

„Я отыщу тотъ крестъ смиренный,
Подъ коимъ межъ чужихъ гробовъ
Твой прахъ улегся, изнуренный
Трудомъ и бременемъ годовъ.

Ты не умрешь въ воспоминаньяхъ
О свѣтлой юности моей
И въ поучительныхъ преданьяхъ
Про жизнь поэтовъ нашихъ дней!...“

Если нельзя поставить въ вину безвременно скончавшемуся поэту, что онъ не исполнилъ своего благороднаго намѣренія и *не отыскалъ* „тотъ крестъ смиренный“, то намъ, благополучно здравствующимъ обывателямъ столицы, должно поставить въ большую вину, что мы ничего не сдѣлали, въ разгаръ Пушкинскихъ торжествъ, въ память той, которая сыграла въ частной и литературной жизни великаго поэта такую оригинальную и благодѣтельную роль.

Но что же слѣдуетъ сдѣлать? Пока что, первымъ дѣломъ, думается мнѣ, слѣдуетъ прибить къ дому Дмитріева, гдѣ скончалась няня Пушкина, доску съ соотвѣтствующею надписью. Это явилось бы особенно трогательнымъ знакомъ почтенія къ памяти Пушкина и, въ то же время, живымъ свидѣтелемъ нашей признательности, въ лицѣ этой замѣчательной простой крестьянки, всему русскому народу. И, по моему, съ этимъ благороднымъ и несложнымъ дѣломъ не приходится медлить! (По счастью, въ означенной квартирѣ помѣщается иконописная мастерская, а не портерная, какъ это зачастую случается въ новооткрытыхъ памятникахъ старины).

Рядомъ съ бывшей квартирой Павлищевыхъ, въ томъ же домѣ, по правую руку отъ воротъ помѣщается теперь городское училище. Разумѣется, въ классахъ будутъ толковать дѣтворѣ о Пушкинѣ, о его величіи, какъ поэта, о значеніи няни Пуш-

кина, весьма можетъ быть, что даже покажутъ на экранѣ ея изображеніе, какъ это практиковалось въ классахъ въ минувшіе Пушкинскіе дни. Нѣтъ поэтому ничего удивительнаго, если какой-нибудь черезчуръ любознательный малышъ огорошитъ учительницу вопросомъ:

— А гдѣ померла нанюра Пушкина?

Учительницѣ больше ничего не останется, какъ отвѣтить:

— А нянюра, душенька, померла въ Казачьемъ переулкѣ, въ домѣ Дмитріева!..

Вы, конечно, поймете недоумѣніе дѣтей, воспитывающихся въ томъ же домѣ и при томъ въ такихъ исключительныхъ понятіяхъ объ общественной признательности. А между тѣмъ въ образчикахъ прописей для городскихъ школъ, навѣрное, существуетъ извѣстное классическое изреченіе поэта: „Неуваженіе къ предкамъ—есть первый признакъ безнравственности"... Если уже намъ не предопредѣлено отмѣтить достойнымъ памятникомъ мѣсто вѣчнаго упокоенія знаменитой няни Пушкина, то отмѣтимъ, по крайней мѣрѣ, почтительной надписью мѣсто ея кончины.

Но даже, помимо этого знаменательнаго обстоятельства, одинъ тотъ фактъ, что цѣлая плеяда знаменитостей, начиная съ Пушкина и Глинки, обрѣли подъ кровлей дома Дмитріева свой излюбленный уголокъ, достаточенъ для того, чтобы признать за этимъ уцѣлѣвшимъ памятникомъ старины несомнѣнное историческое значеніе.

До нельзя странно, какъ въ майскомъ шумѣ Пушкинскихъ дней никто изъ Пушкинскихъ библіографовъ не возвысилъ своего голоса по этому

поводу. Вѣроятнѣе всего, что никому изъ нихъ не пришло въ голову, что въ столь быстро застраивающейся столицѣ могла сохраниться въ счастливой неприкосновенности такая примѣчательность. Самъ почтенный племянникъ Пушкина, Л. Н. Павлищевъ, принадлежалъ, очевидно, къ лику такихъ скептиковъ, потому, что, по его собственному свидѣтельству, ни разу не заглядывалъ въ означенную мѣстность. А когда я, заинтересованный розыскомъ „могилы няни Пушкина", освѣдомился кстати у Л. Н., въ какомъ положеніи находится, въ настоящее время, многократно упоминаемый имъ въ семейной хроникѣ „домъ Дмитріева", онъ добродушно замахалъ на меня руками:

— Что вы, что вы, батенька,—какой тамъ домъ? Чуть не сто лѣтъ прошло съ тѣхъ поръ!.. Я думаю и изъ фамиліи Дмитріевыхъ-то никого теперь нѣтъ!.. А, впрочемъ, попытайтесь... поищите—чего на свѣтѣ не бываетъ!—заключилъ онъ скептически на прощанье.

Памятуя, что всѣ счастливыя открытія производились всегда внезапно, я распорядился нѣсколько по военному, т.-е. выйдя отъ Л. Н., незамедлительно нанялъ перваго попавшагося извозчика въ Семеновскій полкъ. Подъѣзжая къ Казачьему переулку, останавливаю расхаживающаго по Гороховой городового:

— Послушай, братецъ... гдѣ тутъ домъ Дмитріева?

— А вотъ пожалуйте, сейчасъ налѣво... угловой!

— Ура! Значитъ фамилія Дмитріевыхъ не изсякла!..

Слѣзаю съ дрожекъ и не безъ волненія осма-

триваю новоявленный историческій домъ. Теперь припоминаю, что это мой старый знакомый, ибо всякій разъ, какъ мнѣ случалось проѣзжать по Казачьему переулку, онъ мнѣ невольно бросался въ глаза своей архитектурной ветхозавѣтностью—особенно окно мансарды, наверху, надъ воротами, помѣщенное въ старинномъ треугольникѣ, съ бѣлыми колонками.

Подумаешь, какъ все вышло просто!

Вторая стадія послѣ городового—былъ дворникъ дома Дмитріева. Дворникъ предупредительно пояснилъ мнѣ, что интересующій меня домъ принадлежитъ наслѣдникамъ старика Дмитріева и что имъ въ настоящее время заправляетъ молодой С. А. Дмитріевъ. С. А. Дмитріевъ оказался прелюбезнымъ молодымъ человѣкомъ, охотно показалъ мнѣ старые и новые планы дома, обѣщалъ разспросить обстоятельно своего старика дядю о самомъ домѣ и вообще доставить мнѣ всѣ необходимыя свѣдѣнія. Такимъ образомъ, спустя нѣсколько дней, мнѣ удалось установить точно тѣ фактическія данныя, о которыхъ я сообщилъ читателю вначалѣ.

Какъ это ни покажется страннымъ, но главной руководящей нитью въ этихъ развѣдкахъ послужило загадочное происшествіе, приключившееся въ домѣ Дмитріева въ 1830 году и разсказанное подробно Л. Н. Павлищевымъ со словъ его матери: явленіе призрака супругѣ поэта Дельвига баронессѣ Софьѣ Михайловнѣ Дельвигъ („См. воспом. Л. Н.“ стр. 73, гдѣ объявляется кстати и самый планъ квартиры Павлищевыхъ). Призракъ, такъ напугавшій баронессу, что она послѣ того низачто больше не отваживалась ѣздить въ квартиру

своей пріятельницы, и представшій во образѣ страшнаго старика съ зелеными глазами, въ ободраномъ сѣромъ армякѣ, явился ей въ узенькомъ корридорчикѣ, раздѣлявшемъ квартиру Павлищевыхъ на двѣ части. Снаружи означенный домъ Дмитріева, какъ оказывается, съ 1813 года вовсе не передѣлывался (пристроили лишь не такъ давно подъѣздъ для городского училища:—во времена Пушкина ходъ былъ прямо подъ ворота), но зато внутри, въ квартирахъ, были сдѣланы разныя передѣлки, и нетронутыми остались лишь узенькіе корридорчики вверху и внизу, имѣющіе капитальныя стѣны. Такъ какъ въ 1830 году, т.-е. когда явился загадочный призракъ, наверху поселился самъ хозяинъ дома Дмитріевъ, а Ольга Сергѣевна покинула означенную квартиру лишь въ 1832 году—дѣло ясное, что она жила съ мужемъ внизу; на это обстоятельство, кромѣ того, есть прямой намекъ самой Павлищевой, сообщающей въ одномъ изъ писемъ мужу о смерти отъ холеры жильца *верхняго* этажа, нѣкоего г. Роста (Сосѣдній двухъэтажный домъ, № 4, принадлежащій тоже Дмитріевымъ, пристроенъ уже послѣ переѣзда Павлищевыхъ въ Казачій переулокъ).

Разумѣется, означенный „историческій“ корридорчикъ былъ осмотрѣнъ во всей подробности. Дальнѣйшія справки, сообщенныя мнѣ предупредительнымъ хозяиномъ, далеко не лишены интереса.... Въ давнее время вся эта мѣстность принадлежала казакамъ, пока земля не скуплена была въ однѣ руки нѣкіимъ г. Баймаковымъ, который провелъ переулки и сталъ строиться. Въ 1828 году противъ дома Дмитріева, окрашеннаго тогда, судя

по старому плану, въ сѣрый цвѣтъ, былъ пустырь, а позади дома—огромный садъ съ бесѣдками и всякими барскими затѣями (жалкіе остатки сада до сихъ поръ сохранились во дворѣ). Время тогда было патріархальное, и въ одномъ изъ нижнихъ этажей помѣщалась на общее пользованіе, какъ и садъ, домовая баня. Изъ сада прямой выходъ былъ къ Введенской церкви, которая была въ то время небольшая, деревянная и находилась на мѣстѣ Царскосельскаго вокзала (теперешній грандіозный каменный храмъ Введенія возникъ лишь въ пятидесятыхъ годахъ). Въ общемъ, мѣстность эта, во времена Пушкина, представляла типичный и симпатичный уголокъ стараго Петербурга, и художникъ, которому бы пришло въ голову воспользоваться уцѣлѣвшимъ памятникомъ и свѣжими еще преданіями, не остался бы въ проигрышѣ. „Похороны няни Пушкина", напримѣръ, могли бы дать богатѣйшій матеріалъ для полужанровой, полуисторической и несомнѣнно глубоко-трогательной картины!.. Стоитъ только вспомнить, какой замѣчательной кружокъ могъ собрать около себя этотъ простой смиренный гробъ: отецъ Пушкина, Сергѣй Львовичъ съ сыновьями—Александромъ и Львомъ, новобрачные Павлищевы, и весьма вѣроятно, по чувству уваженія къ великому поэту, его ближайшіе друзья—Жуковскій, Плетневъ, Дельвигъ и Боратынскій („долговязый Пронька" и „шутиха Прасковья", вѣроятно, тоже нашли бы здѣсь свое мѣсто, какъ характерная арабеска крѣпостного быта). Уголокъ стараго Петербурга, гробъ няни Пушкина, портреты лицъ, столь близкихъ нашему сердцу по недавнимъ пушкинскимъ днямъ—это

ли еще не сюжетъ для картины?!. А нѣжный меланхолическій обликъ сестры поэта такъ и просится на полотно!..

Вотъ поистинѣ интересная, во многихъ отношеніяхъ, личность, по какой-то непостижимой опрометчивости обойденная на юбилейныхъ страницахъ майскихъ газетъ и журналовъ, переполненныхъ описаніями и портретами родственниковъ и друзей поэта! Недаромъ князь Вяземскій въ прочувствованномъ стихотвореніи, ей посвященномъ, характеризуетъ О. С.:

„Поэта другъ, сестра и геній милый!“

Но и помимо этого завиднаго атестата, совершенно достаточнаго для увѣковѣченія О. С. въ памяти потомства, самая ея натура, исполненная чертъ романтизма и многихъ странныхъ противорѣчій, должна возбуждать любопытство психолога. А натура эта была несомнѣнно крайне воспріимчивая. О. С. усердно читала философовъ и мистиковъ, писала французскіе и русскіе стихи, вела записки, которыя Пушкинъ признавалъ по живости характеристикъ настоящимъ шедевромъ, занималась въ то же время физіономистикой, френологіей, хиромантіей, увлекалась спиритизмомъ и съ особенною любовью отмѣчала въ памяти всѣ загадочныя происшествія, случившіяся въ семьѣ Ганнибаловъ и Пушкиныхъ. Въ извѣстномъ юношескомъ стихотвореніи Пушкина „Къ сестрѣ“ встрѣчаются, между прочимъ, такія „біографическія“ строки:

Любезная сестра!
Чѣмъ сердце занимаешь
Вечернею порой?

Жанъ-Жака ли читаешь?
Жанлисъ ли предъ тобой?
...Иль смотришь въ темну даль
Задумчивой Свѣтланой... и т. д.

Перелистывая воспоминанія ея сына, бросаются невольно въ глаза, какъ яркія пятна, любопытнѣйшіе эпизоды ея жизни... Товарищъ дѣтскихъ игръ великаго поэта, она является въ роли первой публики его поэтическихъ попытокъ, и онъ ей обязанъ первымъ своимъ извѣстнымъ четверостишіемъ: („Dis moi, pourquoi l'Escamoteur"). Въ 1828 году она влюбляется въ бѣднаго молодого человѣка Н. И. Павлищева и, противъ воли родителей, тайно вѣнчается съ нимъ въ полночь, въ Троицкомъ соборѣ Измайловскаго полка, что служитъ неизбѣжнымъ слѣдствіемъ многолѣтнихъ семейныхъ огорченій (ея мать Надежда Осиповна до смерти своей не принимала молодого Павлищева). Еще когда Пушкинъ былъ въ лицеѣ, она предсказала ему насильственную преждевременную смерть, а впослѣдствіи таковую же кончину предугадала по линіи руки, за два дня, своему родственнику, юному офицеру Батурину (дѣйствительно случайно убитому пьянымъ солдатомъ своего полка черезъ два дня). Въ 1853 году, въ періодъ увлеченія спиритизмомъ, она безпощадно сжигаетъ свою многоцѣнную „Семейную хронику", яко бы по повелѣнію тѣни Пушкина, явившейся ей наканунѣ ночью, и оставляетъ потомству посредственные стихи, имѣющіе лишь цѣну по отношенію къ теоріи наслѣдственности. Послѣ полной тревогъ супружеской жизни, заставлявшей ее странствовать по непривѣтному ей Польскому

краю, она возвращается въ любимый Петербургъ и благочестивой, полубольной, полуслѣпой старушкой доживаетъ свой седьмой десятокъ на Шестилавочной ул. (нынѣ Надеждинская) въ домѣ Бровцына (теперь принадлежитъ Случевской). Въ ликованіи пушкинскихъ дней почему-то никто не вспомнилъ о сестрѣ поэта, и могила ея на кладбищѣ Новодѣвичьяго монастыря осталась обидно забвенной... А, между тѣмъ, она всего въ десяти шагахъ отъ извѣстнаго памятника-барельефа Аполлона Майкова. Пройдя эти десять шаговъ, по правую руку отъ нынѣшняго памятника генералъ-адъютанта Мордвинова (ангелъ держитъ надъ гробницей розу), вы увидите простой могильный холмъ и на немъ потемнѣвшую отъ времени каменную плиту. На плитѣ начертано: „Ольга Сергѣевна Павлищева, рожденная Пушкина. Родилась 20-го декабря 1798 г. Скончалась 2-го мая 1868 г... Миръ праху твоему". У изголовья—простой бѣлый деревянный крестъ и вверху креста прибита дощечка со стихами:

„Отдыхъ отъ жизни тяжелой
Могила одна лишь даетъ,—
Пусть же съ улыбкой веселой
Страдалица къ смерти идетъ".

Подъ стихами подпись: „Отъ любящаго сына".

Стихи эти—„Эпитафія", написанная еще при жизни самой Павлищевой.

Родные очевидно пекутся о дорогой могилѣ: она украшена вѣнкомъ и находится въ полной исправности.

Но бѣдная няня Пушкина! Неужели же ея „смиренный крестъ" такъ и не отыщется? Неужели

эта любвеобильная женщина, такъ трогательно воспѣтая двумя поэтами, самыя незначительныя записки которой Пушкинъ берегъ наравнѣ съ посланіями міровыхъ знаменитостей и о кончинѣ которой участливо освѣдомляется самъ Императоръ,—женщина, всю свою жизнь заботившаяся и молившаяся о другихъ, останется постыдно затерянной, безъ достойнаго ея самоотверженію памятника?!..

Въ давно изданной въ Италіи и недавно у насъ переведенной извѣстной драмѣ извѣстнаго итальянскаго драматурга Піетро Косса: „Пушкинъ",—драмѣ страдающей вопіющими анахронизмами и поэтическими вольностями, но согрѣтой горячей любовью къ ея герою,—фигурируетъ, между прочимъ, и знаменитая Арина Родіоновна. И вотъ какое трогательное мѣсто мы находимъ у итальянскаго драматурга въ начальной сценѣ второго акта, въ бесѣдѣ Пушкина съ Дельвигомъ:

Пушкинъ (Дельвигу)... Моимъ учителемъ былъ народный языкъ—безыменный художникъ, который поетъ и страдаетъ вѣчно. И—отгадай—кто первый освободилъ меня отъ французскаго вліянія и пріобщилъ меня къ нему? Моя няня, добрая Аринушка, простая деревенская женщина! И если потомство будетъ читать мое имя, то пусть не забудетъ также „голубку дряхлую мою!!"

Да послужатъ же эти знаменательныя слова, вылившіяся четверть вѣка назадъ подъ чужеземнымъ небомъ,—намъ, русскимъ, въ справедливый упрекъ и доброе поученіе!

На могилѣ жены Пушкина.

На-дняхъ мнѣ пришлось побывать на кладбищѣ Александро-Невской лавры и посѣтить могилу той, которую А. С. Пушкинъ любилъ больше всѣхъ женщинъ на землѣ и за любовь къ которой разсчитался такой безчеловѣчной цѣной... У лѣвой стѣны Старо-Лазаревскаго кладбища лавры, какъ разъ наискось грандіознаго памятника-часовни, воздвигнутаго надъ прахомъ извѣстнаго графа Муравьева-Виленскаго, виднѣется темно-мраморная гробница съ высокимъ темно-мраморнымъ крестомъ въ изголовьи. Съ лѣвой стороны гробницы надпись: „Генералъ-адъютантъ, генералъ-отъ-кавалеріи Петръ Петровичъ Ланской. Род. 13 марта 1799 г., сконч. 6-го мая 1877 г.". По правую руку начертано:

Наталія Николаевна
ЛАНСКАЯ.
Родилась 27 августа 1812 г.
Скончалась 26 ноября 1863 г.

И все. Не прибавлено даже „рожденная Гончарова"—и, такимъ образомъ, для „непосвященныхъ" этотъ, столь заурядный съ виду, памятникъ, мало говоритъ о своемъ трагическомъ соприкосновеніи съ великимъ именемъ безвременно погибшаго поэта. Благодаря тому, что надъ прахомъ жены Пуш-

кина поставленъ одинъ „общій памятникъ“ съ ея вторымъ супругомъ Ланскимъ, самое имя Пушкина является здѣсь какъ бы обидно стертымъ и точно намѣренно затушеваннымъ этой общностью и заурядностью для всякаго посторонняго любопытства. Немудрено поэтому, что въ разгаръ Пушкинскихъ дней не мало лицъ прошло безучастно мимо этой „исторической“ могилы, и вѣнки, ее украшающіе, слѣдуетъ единственно отнести трогательному вниманію дочери покойной Н. Н. отъ Ланского. Сторожъ Старо-Лазаревскаго кладбища, разъяснившій мнѣ послѣднее обстоятельство и указавшій мнѣ могилу „генеральши Ланской“, впервые отъ меня, къ великому своему изумленію, узналъ, что опекаемая имъ генеральская могила имѣетъ отношеніе къ самому Пушкину и, такъ сказать, гораздо выше чиномъ (благодаря весеннимъ Пушкинскимъ торжествамъ, онъ оказался достаточно просвѣщеннымъ насчетъ значенія Пушкина). Что до меня, то мнѣ, въ свою очередь, весьма обязательно указалъ ее родной племянникъ поэта Л. Н. Павлищевъ — единственный пока изъ Пушкинской родственной плеяды, откликающійся не только словомъ, но и дѣломъ на чествованіе памяти своего знаменитаго дяди. Десять лѣтъ тому назадъ онъ выпустилъ свои многоцѣнныя воспоминанія о А. С. Пушкинѣ; и вотъ теперь, на склонѣ лѣтъ, но все еще замѣчательно энергичный и отзывчивый, онъ даритъ публику небольшой изящной брошюркой: „Кончина Александра Сергѣевича Пушкина“, проливающею новый свѣтъ на это печальнѣйшее событіе русской жизни и какъ бы дополняющей собой ранѣе изданную „Семейную

хронику"... Вернувшись съ кладбища, я еще разъ пробѣжалъ эту маленькую, но глубоко интересную книжечку и невольно призадумался надъ обычно-скорбнымъ вопросомъ, тяготѣющимъ надъ безвременной кончиной Пушкина: кто виноватъ?!..

Не такъ давно мнѣ случилось прочесть въ газетѣ „Народъ" дамски-откровенный фельетонъ г-жи Шабельской... Она обрушивается въ немъ всею тяжестью своей дамской логики исключительно на жену Пушкина, причемъ логика эта приводитъ автора, въ концѣ-концовъ, къ весьма рискованному выводу: „пускай, рѣшаетъ она, Н. Н. Пушкина фактически сохранила безусловную супружескую вѣрность... Но что въ томъ? Не лучше было бы поэту и его читателямъ, еслибы жена его дала бы ему поменьше „вѣрности", но побольше счастія и спокойствія и тѣмъ сохранила 5 — 10, а можетъ быть и 20 лѣтъ жизни и творческой дѣятельности пѣвцу Татьяны и Маріи... Фактъ остается фактомъ... Убила поэта не глупая пуля Дантеса, а красавица жена Наталія Николаевна Пушкина!". („Народъ", 10 іюня 1899 г.).

Такъ думаетъ Е. Шабельская... А что думаетъ объ этомъ сама Н. Н. Пушкина — отчего, между прочимъ, не послушать бы и ея голоса?... Н. Н. сдѣлала очень любопытное признаніе по этому поводу сестрѣ поэта—Ольгѣ Сергѣевнѣ, въ присутствіи нынѣ здравствующаго Льва Николаевича Павлищева (лѣтъ двадцать спустя послѣ кончины Пушкина):

„Завѣряю тебя, Ольга, въ присутствіи Леона (тутъ тетка указала на меня) священнымъ моимъ словомъ, что я не погрѣшила и мысленно противъ

Пушкина (тетка всегда называла моего дядю по фамиліи, даже и въ разговорахъ съ нимъ), а укоряю себя лишь въ недальновидности: по неопытности я не подозрѣвала ничего серьезнаго, а потому и не предупредила козней его враговъ. Но въ остальномъ чѣмъ провинилась? Моей привлекательной наружностью?—Да не я же себѣ ее сотворила. — Любезнымъ обращеніемъ? — Да этому виноватъ мой общительный характеръ.—Остроуміемъ въ обществѣ? — Но если острила, то вовсе не съ цѣлью обижать кого бы то ни было. Наконецъ,— сказать смѣшно — неужели моимъ умѣньемъ играть въ шахматы, за которое получала комплименты мужчинъ?—Да скучно вѣдь играть въ шахматы самой съ собою. Но,—можетъ быть грѣшу,— никогда не прощу злодѣевъ, котерые свели моего Пушкина въ могилу, для чего и безславили меня. Скорбь же моя о Пушкинѣ умаляется при сознаніи, что я чиста предъ нимъ. Пусть праздные языки толкуютъ обо мнѣ, что угодно. Сами себя мараютъ, а не того, кого чернятъ". („Кончина А. С. Пушкина" Л. Павлищева, стр. 41—42).

Въ самомъ дѣлѣ, такъ ли виновата жена Пушкина, какъ это принято думать въ большинствѣ? Постараемся разобраться въ этомъ вопросѣ хладнокровно и по возможности обстоятельно...

Во-первыхъ, надо основательнѣе принять во вниманіе, что жена Пушкина была не просто красивая женщина, а красавица—и послушайте графа Владиміра Сологуба, какая красавица: „Много видѣлъ я на своемъ вѣку красивыхъ женщинъ — вспоминаетъ графъ: — много встрѣчалъ женщинъ еще обаятельнѣе Пушкиной, но никогда не виды-

валъ я женщины, которая соединила бы въ себѣ такую законченность классически правильныхъ чертъ и стана. Ростомъ высокая, съ баснословно тонкой тальей, при роскошно развитыхъ плечахъ и груди, ея маленькая головка, какъ лилія на стеблѣ, колыхалась и граціозно поворачивалась на тонкой шеѣ; такого красиваго и правильнаго профиля я не видѣлъ никогда болѣе; а кожа, глаза, зубы, уши? Да, это была настоящая красавица. Не даромъ всѣ остальныя даже изъ самыхъ прелестныхъ женщинъ меркли какъ то при ея появленіи". Восторженный отзывъ влюбленнаго въ Пушкину графа не долженъ показаться преувеличеннымъ, если вспомнить, что даже привередливыя свѣтскія женщины отзываются о ней почти въ томъ же смыслѣ. Возьмемъ, напримѣръ, на выдержку отрывокъ изъ дневника А. О. Смирновой: „Балъ въ Аничковомъ очень маленькій; были Пушкины; Nathalie была очень хороша, послѣ своихъ родовъ она пополнѣла, ея плечи, талія великолѣпны, и она бѣла, какъ лебедь, она затмила Л. Б. и А. К., я была очень рада, такъ какъ это доставляетъ удовольствіе Сверчку. Императрица мнѣ сказала: „Она прекрасно себя держитъ: просто и спокойно". Эта коротенькая бѣглая замѣтка говоритъ, однако, достаточно краснорѣчиво о выдающейся красотѣ Наталіи Николеевны Пушкиной. А красота—совсѣмъ не такое маловажное дѣло, какъ это полагаютъ гг. толстовцы. „Красота женщины—еще тайна!" замѣчаетъ Гоголь въ одномъ изъ своихъ писемъ: — „Богъ не даромъ повелѣлъ инымъ изъ женщинъ быть красавицами; не даромъ опредѣлено, чтобы всѣхъ равно поражала красота — даже и такихъ.

которые ко всему безчувственны и ни къ чему не способны"... Не знаю почему, но, читая описаніе портрета Н. Н., мнѣ всегда вспоминается Мопассановская графиня Габріэль де-Маскаре, та самая ослѣпительная, холодная парижская красавица, что единственно ради блистанія своего въ свѣтѣ нѣсколько лѣтъ подрядъ упорно отказывалась отъ брачныхъ наслажденій. Когда графъ, наконецъ, узнаетъ тайну ея супружескаго упорства, онъ невольно задумывается надъ значеніемъ женской красоты. Но это мѣсто слишкомъ характерно, чтобы не соблазниться его выписать...

„Онъ упорно посмотрѣлъ ей въ глаза, — она была такъ хороша съ красивыми сѣрыми своими глазами, напоминавшими холодныя небеса. Въ темной ея прическѣ, въ этой опаковой ночи ея черныхъ волосъ сверкала діадема, усыпанная бриллiантами, въ видѣ млечнаго пути. И тутъ вдругъ онъ почувствовалъ въ силу какого то сокровеннаго внушенія, что это существо было уже не только женщиной, предназначенной для увѣковѣчиванія породы, но вмѣстѣ съ тѣмъ страннымъ и таинственнымъ продуктомъ всѣхъ сложныхъ нашихъ желаній, накопившихся въ насъ вѣками, отдалившихся отъ первоначальной и божественной цѣли, въ погонѣ за красотой мистической, провидѣнной и неуловимой. Таковы нѣкоторыя изъ нихъ, которыя цвѣтутъ исключительно для нашей мечты, украшенныя всѣмъ, что цивилизація, по части поэзіи, этой идеальной роскоши, кокетства и эстетическаго очарованія, вложила въ атмосферу женщины, этой статуи, которая возбуждаетъ духовные аппетиты не хуже любострастныхъ лихорадокъ".

Какъ видите, въ этомъ мѣстѣ хохолъ Гоголь почти совпадаетъ съ парижаниномъ Мопассаномъ. Богъ вѣсть, можетъ быть исключительная красота вмѣщаетъ въ себѣ и свое исключительное призваніе, и всякій дерзкій, посягающій на ограниченье ея божественной власти, тѣмъ самымъ предназначается къ погибели. Помните вызовъ царицы-Клеопатры „Изъ Египетскихъ ночей“ Пушкина:

„Скажите, кто межъ вами купитъ
Цѣною жизни ночь мою?“...

Вотъ она, потаенно вызывающая, символически роковая власть всякой царственной красоты! И также еще вопросъ:—имѣетъ ли право обладатель картины Рафаэля, хотя бы и былъ ея истиннымъ знатокомъ и любителемъ, сохранять ее исключительно для себя, лишая толпу лицезрѣнія небеснаго лика?!

Теперь возьмемъ другую сторону вопроса—болѣе прозаическую... Виновата ли Н. Н., что не пришлась въ умственномъ и житейскомъ обиходѣ по плечу такой огромной по своему общественному значенію величинѣ, какъ Пушкинъ? Конечно, нѣтъ... Старикъ Гекернъ какъ то замѣтилъ ей про Пушкина: „Вамъ нуженъ не такой мужъ, какъ вашъ!“ Это очень цинично, но ядовито вѣрно. Какой же ей мужъ былъ по плечу? Да, пожалуй, тотъ самый Дантесъ, котораго ей сваталъ хитроумный дипломатъ. Въ сущности, что такое былъ Дантесъ? Не что иное, какъ Гоголевскій поручикъ Пироговъ, только въ кавалергардской формѣ и съ французскимъ гербомъ. Красивъ онъ былъ безспорно и, вдобавокъ, какъ Гоголевскій поручикъ,

отлично зналъ „ту мелочь, что такъ нравится женщинамъ“. Кромѣ того, благодаря старику Гекерну, достаточно богатъ, чтобы блистать въ большомъ свѣтѣ, тогда какъ Пушкинъ, со времени своей женитьбы и камеръ-юнкерства, бился изъ послѣднихъ силъ въ тискахъ нужды... Кто знаетъ, поверни судьба иначе—Пушкинъ оказался бы счастливымъ мужемъ Олениной или Ушаковой, а Наталія Николаевна съ Дантесомъ на придворныхъ балахъ производили бы эффектъ самой красивой и, можетъ быть, благополучнѣйшей супружеской парочки въ Петербургѣ. Но судьба повернулась не такъ, и Пушкинъ оказался въ петлѣ, завязанной мертвымъ узломъ... Но ручки, завязывавшія постепенно эту петлю, были такъ изящны, а прекрасные глазки въ это время смотрѣли такъ невинно, что не могло быть даже мысли о бѣгствѣ изъ плѣна. И никакого лукавства и злодѣйства тутъ не было. Н. Н. была женщина, какъ женщина, ничѣмъ не хуже и много—много лучше другихъ... если вспомнить, напримѣръ, о подругахъ прочихъ великихъ людей—подругахъ Гете, Гейне, Мольера, Бальзака! При всемъ чисто свѣтскомъ легкомысліи, объясняемомъ нелѣпымъ воспитаніемъ, въ ея характерѣ было много трогательнаго добродушія и искренности. (Очень жаль, что рядомъ съ письмами Пушкина къ его женѣ не опубликованы хоть нѣкоторыя изъ писемъ Н. Н. къ своему мужу; они навѣрное много бы сказали въ ея пользу и, во всякомъ случаѣ, пролили бы новый свѣтъ!) И потомъ не надо забывать, что она вышла замужъ за Пушкина всего девятнадцати лѣтъ, а овдовѣла двадцати четырехъ—предательскій возрастъ, когда

танцы, флиртъ и поручики Пироговы заключаютъ надъ головкой красивой женщины свой тайный тройственный союзъ. А остальное все—обычныя житейскія мелочи, которыя знакомы всякому, кто хоть немного зналъ хорошенькихъ и легкомысленныхъ женщинъ... Прочтите записки А. О. Смирновой, семейную хронику Л. Н. Павлищева и, наконецъ, письма къ женѣ самого Пушкина—эту открытую книгу души поэта—и передъ вами живо обрисуется, какъ на экранѣ волшебнаго фонаря, весь пестрый калейдоскопъ его семейной обстановки.

„Такъ какъ литература, которой угощаетъ меня Пушкинъ", записываетъ въ 1831 г. въ Царскомъ Селѣ А. О. Смирнова, „наводитъ смертную скуку на его жену, то послѣ чтенія я катаю ее въ коляскѣ, чтобы привести въ хорошее расположеніе духа. Она такой ребенокъ, такъ не развита еще, что ее занимаетъ то, что я разсказываю ей о своемъ институтскомъ житьѣ-бытьѣ, о масляничныхъ катаньяхъ подъ балаганами въ придворныхъ каретахъ, о шалостяхъ Т. и К., о моихъ проказахъ со Stephanie, о томъ, какъ мы поддразнивали m-me Нагель, которая, проживъ тридцать пять лѣтъ въ Россіи, усвоила только три русскихъ слова: „карашо, чистый и пекетокъ, вмѣсто кипятокъ"... И далѣе: „Пушкинъ такъ добръ. Онъ всегда благодаритъ меня, когда я займу и позабавлю его жену. Ужасно жаль, что она такъ необразована; изъ всѣхъ его стихотвореній она цѣнитъ только тѣ, которыя посвящены ей". Какъ она относилась къ другимъ стихамъ своего мужа, характерно дорисовываетъ слѣдующее воспоминаніе дочери Смирновой—О. Смирновой...

„Разъ, когда онъ читалъ моей матери стихотвореніе, которое она должна была въ тотъ же вечеръ передать Государю, жена Пушкина воскликнула: „Господи, до чего ты мнѣ надоѣлъ со своими стихами, Пушкинъ!“. Онъ сдѣлалъ видъ, что не понялъ, и отвѣчалъ: „Извини, этихъ ты еще не знаешь; я не читалъ ихъ при тебѣ“. — „Эти ли, другіе ли, все равно. Ты, вообще, надоѣлъ мнѣ своими стихами!“ Нѣсколько смущенный поэтъ сказалъ моей матери, которая кусала себѣ губы, чтобъ удержаться отъ вмѣшательства: „Натали еще совсѣмъ ребенокъ. У нея невозможная откровенность малыхъ ребятъ“. Онъ передалъ стихи моей матери, не дочитавъ ихъ, и перемѣнилъ разговоръ. Въ царскосельскомъ китайскомъ театрѣ затѣвался спектакль, и мать моя сообщила Пушкиной, что она получитъ приглашеніе. Это привело ее въ лучшее настроеніе, и она сказала моей матери:

— „Пожалуйста, продолжайте чтеніе. Я вижу, что ему этого очень хочется. А я пойду посмотрю мои платья. Вы зайдете ко мнѣ потомъ, чтобъ сказать, что мнѣ лучше надѣть для спектакля?“

Не правда ли, тутъ вся женщина? „Красота прозводитъ совершенныя чудеса“, говоритъ Гоголь (быть можетъ, втайнѣ подъ впечатлѣніемъ встрѣчи съ Н. Н.), „всѣ душевные недостатки въ красавицѣ, вмѣсто того, чтобъ произвесть отвращеніе, становятся какъ-то необыкновенно привлекательны, самый порокъ въ нихъ — миловидностью...“ А вѣдь Пушкинъ былъ влюбленъ въ Н. Н. до безумія, со всѣмъ пыломъ своей африканской натуры, со всѣмъ самоотверженіемъ своей безконечно доброй души... Еще женихомъ онъ пишетъ

ей: „Даю вамъ честное слово принадлежать только вамъ или никогда не жениться!..“ А затѣмъ, уже будучи три года женатымъ, онъ все такъ же рыцарски вѣренъ своей страсти: „Я веду себя хорошо и тебѣ не за что на меня дуться... Глядѣлась ли ты въ зеркало, и увѣрилась ли ты, что съ твоимъ лицомъ ничего сравнить нельзя на свѣтѣ,—а душу твою — люблю я еще болѣе твоего лица...“ И въ слѣдующемъ письмѣ опять: „Ты видишь, что несмотря на городничиху и ея дочку — я все еще люблю Гончарову Наташу, которую заочно цѣлую куда ни попало. Addio, mia bella, idolo mio!!..“

А „idolo mio“, вмѣсто того, чтобы отвѣчать поэту тѣмъ же, держитъ его въ вѣчной тревогѣ своимъ неугомоннымъ кокетствомъ и женскимъ легкомысліемъ; и при этомъ — не угодно ли—еще изволитъ своего муженька ревновать, и ревновать совершенно безтолково, направо и налѣво, къ старымъ и молодымъ, къ красивымъ и безобразнымъ. Несмотря на свою классически строгую красоту, давшую поводъ отцу Смирновой (очень тонкому эстетику) сравнить ее съ Мадонной Перуджино, въ одну изъ ревнивыхъ минутъ она переходитъ не только классическія, но и всякія границы, о чемъ Пушкинъ и свидѣтельствуетъ со своимъ обычнымъ добродушіемъ: „однако, надо признаться, ручка у моей Мадонны тяжеленька!“

Словомъ, все совсѣмъ такъ, какъ это бываетъ въ семьяхъ простыхъ смертныхъ... Впрочемъ, она быть можетъ отличалась акуратностью въ дѣлахъ и была отмѣнной хозяйкой, до нѣкоторой степени утѣшая мужа этой практической стороной? Ничуть не бывало. „Какъ твой адресъ глупъ — такъ это

объяденіе! „Въ Псковскую губернію, село Михайловское“. Ахъ ты моя голубушка! а въ какой уѣздъ и не сказано. Да и Михайловскихъ селъ, чаю, не одно; а хоть и одно, такъ кто жъ его знаетъ“. Другой разъ, неизвѣстно съ чего, она направляетъ всѣ письма мужу въ г. Опочку и доставляетъ мнительному поэту новыя тревоги. Или, напримѣръ, она получаетъ на имя Пушкина пакетъ отъ Бенкендорфа, но Н. Н. чѣмъ то раздосадована на мужа и, въ отместку, отсылаетъ столь важную бумагу Богъ вѣдаетъ куда.

Какъ хозяйка, гм...? Она безтолково мѣняетъ прислугу, зря тратитъ массу денегъ, а когда мужъ заикается о переселеніи въ деревню для поправленія обстоятельствъ, она заливается слезами, не стѣсняясь даже присутствіемъ постороннихъ... Впослѣдствіи, уже будучи замужемъ за Ланскимъ, по свидѣтельству Л. Н. Павлищева, гостившаго у ней на дачѣ Строганова, она превратилась въ отличную, даже нѣсколько скупую хозяйку, домъ свой вела образцово и дѣтей отъ второго мужа воспитывала въ строгости и страхѣ Божіемъ... Какъ видите—виновата, но заслуживаетъ снисхожденія. То, что легко дается въ 30—40 лѣтъ, не всегда доступно въ 20, да еще въ чаду такого свѣтскаго успѣха, который рѣдко кому выпадалъ на долю. Графъ Сологубъ отмѣчаетъ въ своихъ воспоминаніяхъ, что въ Петербургѣ не было почти ни одного юноши, который бы тайно не вздыхалъ по Н. Н.: „ея лучезарная красота рядомъ съ магическимъ именемъ Пушкина—всѣмъ кружила головы“. Или вотъ отрывокъ изъ письма матери Пушкина — Ольгѣ Сергѣевнѣ Павлищевой, отъ 26 января

1834 года: „Извѣстно ли тебѣ, милая Ольга, что Александръ, къ большому удовольствію жены, сдѣланъ камеръ-юнкеромъ? Представленіе ея ко двору въ среду, 17 числа, увѣнчалось большимъ успѣхомъ. Участвуетъ на всѣхъ балахъ, и о ней вездѣ говорятъ; на балѣ у Бобринскихъ Императоръ танцовалъ съ Наташей кадриль, а за ужиномъ сидѣлъ возлѣ нея. Говорятъ, на балѣ въ Аничковомъ дворцѣ моя невѣстка была поистинѣ очаровательна. Танцовала много, не будучи на ея счастье беременной". И далѣе: „Наташа всегда прекрасна, щегольски одѣта; вездѣ празднуютъ ея появленіе. Возвращается съ вечеровъ въ четыре или пять часовъ утра, обѣдаетъ въ 8 часовъ вечера; вставъ же изъ за стола, идетъ переодѣваться и опять уѣзжаетъ". До хозяйства ли тутъ было!..

Представьте себѣ молоденькую талантливую артистку, которая на своемъ первомъ дебютѣ на большой сценѣ имѣетъ ошеломляющій успѣхъ. Мужъ ревнуетъ, родители толкуютъ, что она наряжается не по средствамъ, а она, упоенная успѣхомъ, завороженная восторженнымъ шопотомъ толпы поклонниковъ, ничего не слышитъ, не видитъ и не понимаетъ... Точно также и Н. Н. Она стоитъ на порогѣ потрясающей драмы, готовой разыграться не сегодня—завтра въ ея домѣ, но все еще никакъ не можетъ очнуться отъ праздничнаго похмѣлья и продолжаетъ легкомысленничать... Пушкинъ признается своей сестрѣ, что онъ считаетъ себя существомъ, близкимъ къ сумасшествію, когда видитъ свою жену разговаривающей и танцующей на балахъ съ красивыми молодыми людьми; одно уже прикосновеніе чужихъ мужскихъ рукъ къ ея рукѣ

причиняетъ ему приливы къ головѣ. А Н. Н.— предательская женская черта—вмѣсто того, чтобы успокоить его болѣзненную мнительность, постоянно его „поддразниваетъ“, не замѣчая или не имѣя времени замѣтить, какъ онъ и безъ того уже ожесточенъ и замученъ болѣе серьезными поддразниваніями со стороны... „Смотри, женка, Дантесъ за тобой ухаживаетъ: вызову на дуэль, а тогда кого пожалѣешь?“—„А того, кто будетъ убитъ!“ отвѣчаетъ Наталія Николаевна.—Убиваютъ Пушкина... и черезъ три-четыре года она выходитъ замужъ за генерала П. П. Ланского. „Поплакала и утѣшилась“—иронически замѣчаетъ г-жа Шабельская:— „Не поняла даже того, что имя Пушкина, какъ королевскій пурпуръ, не сбрасывается...“ Но что жъ тутъ такого, при чемъ тутъ пурпуръ? Развѣ не самъ Пушкинъ завѣщалъ ей на смертномъ одрѣ: „ступай въ деревню, носи по мнѣ трауръ два года, а потомъ выходи замужъ, но за человѣка порядочнаго“. Въ концѣ концовъ, она вѣдь только исполнила его предсмертную волю... И съ ея точки зрѣнія она совершенно права. Правда, что впослѣдствіи Н. Н. всегда избѣгала разговоровъ о его трагической кончинѣ, что, однако, не помѣшало ей благополучно проживать на дачѣ на Черной рѣчкѣ, въ двухъ шагахъ отъ мѣста дуэли Пушкина.

„О, вдовы! всѣ вы таковы!!“ восклицаетъ Лепорелло, когда узнаетъ, что донна Анна дала свое согласіе на свиданіе съ донъ-Жуаномъ у самаго памятника своего покойнаго мужа — и въ этомъ классическомъ изреченіи мнѣ невольно чуется какъ бы скорбная нота личнаго предчувствія поэта. Впрочемъ, въ пушкинскомъ „Каменномъ го-

стѣ“, несмотря на его видимую классическую округленность, вообще, очень много личнаго — и эта тонкая черта могла бы послужить поводомъ для отдѣльнаго изслѣдованія... Пока что—вернемся къ настоящей сложной темѣ. Лабиринтъ интимныхъ мелочей, въ которыхъ мы до сихъ поръ плутали, приводитъ насъ невольнымъ образомъ къ роковому тупику, т. е. вопросу: „отчего умеръ Пушкинъ?“

И. С. Тургеневъ, потрясенный смертью Гоголя, обронилъ, въ своемъ письмѣ по этому поводу къ И. С. Аксакову, жутко-прозорливое слово, обнажающее весь глубоко-трагическій смыслъ событія. „Мнѣ, право, кажется, что онъ умеръ потому, что рѣшился умереть... хотѣлъ умереть!“.

Не та же ли разгадка и смерти Пушкина?!

Когда вдумчивѣе вглядишься въ обстановку послѣднихъ лѣтъ его жизни, то, право, не знаешь, чему больше удивляться: героизму, съ которымъ онъ принялъ смерть, или мужеству, съ которымъ онъ выносилъ тяжесть жизни?!.. А тяжесть эта была порой прямо невыносима... Съ перваго взгляда, впрочемъ, какъ будто ничего особеннаго—мало ли живетъ въ Петербургѣ людей съ запутанными дѣлами. Надо же было, чтобы къ злополучнымъ дѣламъ и разнымъ вексельнымъ обязательствамъ примѣшалось еще такое „высокоотвѣтственное обязательство...“, какъ званіе перваго поэта земли русской. Оно то и надѣлало ему больше всего хлопотъ... Очень характерная черта, что Пушкинъ часто мѣняетъ квартиры..., все ищетъ, гдѣ было бы лучше, т. е. удобнѣе работать. „Былъ бы особый кабинетъ — а прочее мнѣ все равно“, признается

онъ Плетневу, который по его порученію ищетъ ему „фатерку“ (выраженіе Пушкина). „Насъ будетъ: мы двое, три или четыре человѣка, да три бабы“. Это было писано весной 1831 года — а впослѣдствіи прибавились двѣ сестры Гончаровой, народились дѣти... прибавилось и расходовъ, и людей, и семейныхъ треволненій. А режимъ въ домѣ продолжалъ оставаться все тотъ же — невозможный режимъ модной свѣтской красавицы: ночь превращается въ день, день въ ночь, въ домѣ толпится всякій лишній свѣтскій сбродъ, въ хозяйствѣ неизбѣжная безтолковщина... По счастью, нашлась добрая душа въ лицѣ младшей сестры Н. Н., такъ называемой, Азиньки (Александры Николаевны, вышедшей впослѣдствіи замужъ за барона Фризенгофа). Не красивая, но симпатичная Азинька—единственная, кажется, въ домѣ искренняя почитательница Пушкина, какъ поэта, — та постоянно сидитъ дома, няньчитъ его дѣтей, помогаетъ по хозяйству... Повторяется нѣкоторымъ образомъ сцена изъ „Фру-Фру“... Пушкинъ возвращается изъ деревни или Москвы и летитъ домой. Первое слово: „дома барыня?“ Разумѣется, нѣтъ— барыня, по обыкновенію, на балу. А кто же дома? Дома — Азинька, одна Азинька, вѣчно Азинька!.. (Какъ извѣстно, это трогательное участіе не прошло бѣдной дѣвушкѣ даромъ и дало лишнюю пищу злымъ языкамъ). „Нѣтъ у меня досуга, вольной холостой жизни, необходимой для писателя“, жалуется Пушкинъ своему другу Т. В. Нащокину: „Кружусь въ свѣтѣ, жена моя въ большой модѣ; все это требуетъ денегъ, деньги достаются мнѣ черезъ труды, а труды требуютъ уединенія“. А

какое, спрашивается, могло быть уединеніе при такой обстановкѣ?

Жену онъ, по возможности, щадитъ. „Милый мой ангелъ! Я, было, написалъ тебѣ письмо на четырехъ страницахъ, но оно вышло такое горькое и мрачное, что я его тебѣ не послалъ, а пишу другое... Не сердись, жена, и не толкуй моихъ жалобъ въ худую сторону. Никогда не думалъ я упрекать тебя въ своей зависимости. Я долженъ былъ на тебѣ жениться, потому что всю жизнь былъ бы безъ тебя несчастливъ; но я не долженъ былъ вступать въ службу, и что еще хуже—опутать себя денежными обязательствами...“

А путы эти послѣдніе три года, видно, были слишкомъ жестоки, если нравственно брезгливый Пушкинъ вынужденъ былъ пускать къ себѣ на порогъ темныхъ личностей вродѣ нѣкоего г. Боголюбова. Авторъ малоизвѣстной, но весьма любопытной московской брошюрки „Дуэль Пушкина“ придаетъ этимъ денежнымъ путамъ, не безъ основанія, первенствующее значеніе, хотя мало подчеркиваетъ то важное обстоятельство, что, страдая отъ нихъ, Пушкинъ страдалъ, въ сущности, не столько за свою семейственную честь, сколько за честь писательскую. Послѣдняя нота, несмотря на свою потаенность, несомнѣнно доминирующая въ душевномъ разладѣ Пушкина. Въ послѣднихъ письмахъ къ женѣ, Пушкинъ уже мало стѣсняется, и иныя строки прямо звучатъ, какъ вопли изнемогающаго человѣка. „О чемъ я думаю? Вотъ о чемъ: чѣмъ намъ жить будетъ? Отецъ не оставитъ мнѣ имѣнія; онъ его уже съ половину промоталъ; ваше имѣніе на волоскѣ отъ погибели. Царь не позво-

ляетъ мнѣ ни записаться въ помѣщики, ни въ журналисты. Писать книги для денегъ, видитъ Богъ, не могу. У насъ ни гроша вѣрнаго дохода, а вѣрнаго расхода 30,000. Все держится на мнѣ, да на теткѣ. Но ни я, ни тетка не вѣчны. Что изъ этого будетъ, Богъ знаетъ"... И въ другомъ мѣстѣ: „Хорошо, коли проживу я лѣтъ еще 25; а коли свернусь прежде десяти, такъ не знаю, что ты будешь дѣлать, и что скажутъ Машка, а въ особенности Сашка. Утѣшенія мало имъ будетъ въ томъ, что ихъ папеньку схоронили, какъ шута и, что ихъ маменька ужасъ какъ мила была на аничковскихъ балахъ". Или вотъ еще: „Женка, женка! Я ѣзжу по большимъ дорогамъ, живу по три мѣсяца въ степной глуши, останавливаюсь въ пакостной Москвѣ, которую ненавижу — для чего?— Для тебя, женка: чтобъ ты была спокойна и блистала себѣ на здоровье, какъ прилично въ твои лѣта и съ твоею красотою. Побереги же и ты меня. Къ хлопотамъ, неразлучнымъ съ жизнью мужчины — не прибавляй хлопотъ семейственныхъ — ревности, etc, etc"... — Послѣднія строки послѣдняго письма къ женѣ прямо невозможно читать безъ внутренней боли... „...У меня у самого душа въ пятки уходитъ, какъ вспомню, что я—журналистъ. Будучи еще порядочнымъ человѣкомъ, я получалъ уже полицейскіе выговоры, и мнѣ говорили: Vous avez trompé и тому подобное. Что же теперь со мною будетъ? Мордвиновъ будетъ на меня смотрѣть, какъ на Ѳаддея Булгарина и Николая Полеваго, какъ на шпіона. Чортъ догадалъ меня родиться въ Россіи съ душою и талантомъ!"

А родные Пушкина въ то же время тянули

свою пѣсню. Вотъ краснорѣчивый отрывокъ изъ одного письма Надежды Осиповны Пушкиной къ дочери, Ольгѣ Павлищевой, отъ 1835 года: „Архарова въ Павловскѣ и приказала своей дочери Васильчиковой отыскать для насъ тамъ дачу, но наше переселеніе туда зависитъ отъ Александра: надо, чтобъ онъ далъ намъ для этого средства". Эта фраза: „все зависитъ отъ Александра", не разъ повторяется въ родственныхъ посланіяхъ и становится какъ бы классической... Кромѣ того, ему приходилось оплачивать долги своего брата Льва и заботиться о судьбѣ сестры своей Павлищевой. Нервы его въ послѣдніе годы были разстроены до послѣдней степени и, какъ свидѣтельствуютъ его родные, достаточно иногда было пустяка, какого-нибудь незначительнаго воспоминанія, чтобъ изъ глазъ его брызнули слезы... Когда въ Пасху 1836 года умерла его мать, онъ рыдалъ, какъ ребенокъ. Лихорадочная нервная жизнь, распредѣленная между усиленными занятіями и не менѣе усиленными посѣщеніями большого свѣта, неминуемо отразилась на его наружности: въ послѣднее время онъ такъ осунулся, что казался десятью годами старше своихъ лѣтъ...

А свѣтскіе враги между тѣмъ не дремали... За два года до смерти онъ роняетъ такую фразу въ своемъ посланіи къ женѣ: „Ты развѣ думаешь, что свинскій Петербургъ не гадокъ мнѣ? что мнѣ весело въ немъ жить между пасквилями и доносами?" Дѣйствительно, еще раньше извѣстнаго пасквиля, послужившаго косвеннымъ образомъ къ роковой дуэли, его травятъ гнусными анонимными письмами на счетъ Дантеса и его жены. По сло-

вамъ Павлищева, письма подбрасывали къ нему на квартиру, подсовывались въ ресторанѣ въ салфетку прибора, а разъ, при выходѣ изъ театра, онъ нашелъ подобную гадость и въ карманѣ верхней одежды, поданной капельдинеромъ. Къ этому же времени относятся извѣстныя строки, адресованныя къ П. А. Осиповой: „Повѣрьте мнѣ, жизнь при всемъ томъ, что она—„сладкая привычка", содержитъ въ себѣ горечь, отъ которой дѣлается, наконецъ, противною; свѣтъ же—гнусная, грязная лужа". Кстати сказать, авторъ помянутой московской брошюрки о дуэли Пушкина очень вѣрно суммируетъ тогдашнее настроеніе Пушкина:

„Эта постоянная забота о матеріальныхъ средствахъ, толки и злорѣчія—все это совершенно измѣнило характеръ Пушкина. Онъ сдѣлался желченъ, подозрителенъ, вездѣ видѣлъ враговъ; въ каждомъ словѣ видѣлъ намекъ или оскорбленіе его чести, его имени. Малѣйшая свѣтская любезность, оказанная кѣмъ либо его женѣ, казалась ему волокитствомъ; явное къ ней равнодушіе—оскорбительнымъ презрѣніемъ. При такомъ душевномъ настроеніи до столкновеній одинъ шагъ". Откликъ означеннаго настроенія мы даже находимъ въ концѣ извѣстной элегіи „Вновь я посѣтилъ"—„концѣ", впослѣдствіи выкинутомъ:

„Я былъ одинъ. Врага я видѣлъ въ каждомъ,
Измѣнника—въ товарищѣ минутномъ,
И бурныя имѣли чувства, —
И ненависть, и грезы мести блѣдной..."

Въ январѣ 1836 г. у него выходитъ недоразумѣніе съ княземъ Рѣпнинымъ, черезъ мѣсяцъ, изъ-

за бездѣлицы — столкновеніе съ юношей Сологубомъ, а спустя полгода — схватка съ Гекерномъ и Дантесомъ... Все равно—надо умирать... Иного нѣтъ исхода; для всякаго другого человѣка—онъ вѣроятно, нашелся бы, но для человѣка, носившаго имя „Пушкина", его не было. Глубокознаменательно и потрясающе, что знаменитый „Памятникъ" вылился у Пушкина всего за нѣсколько мѣсяцевъ до смерти, въ самый разгаръ гнусной травли. А, презрѣнные, вы меня травите, пренебрегая моимъ священнымъ саномъ поэта, но знайте:

„Я памятникъ воздвигъ себѣ нерукотворный!"

И рядомъ, какъ зловѣщая тѣнь, все та же неотступная мысль: долги растутъ, сочиненія даютъ доходъ недостаточный, для денегъ писать свыше силъ — впереди новая денежная петля и изъ-за какихъ-нибудь тамъ женскихъ тряпокъ быть можетъ безчестіе еще сильнѣйшее, чѣмъ супружеское—безчестіе имени писателя... Что другое, а это имя слѣдуетъ сохранить для потомства незапятнаннымъ:

„Слухъ обо мнѣ пройдетъ по всей Руси великой" ...

Нѣтъ, ужъ лучше смерть! „Чѣмъ кровавѣе — тѣмъ лучше"—упрашиваетъ онъ своего секунданта на обѣдѣ у Карамзиныхъ:—Ни на какія объясненія не соглашайтесь".

И вотъ, едва смерть коснулась его своимъ крыломъ—какая вдругъ перемѣна! Уже тяжко раненый, лежа въ снѣгу, онъ съ горькой улыбкой признается Данзасу: „странно, я думалъ, что мнѣ бу-

детъ пріятно убить его, но чувствую, что нѣтъ...“ И затѣмъ онъ прощаетъ его... и больше не вспоминаетъ. Очевидно, не стоитъ, какъ не стоитъ вспоминать о подставной мишени... Къ женѣ онъ обращается съ тѣми нѣжными словами утѣшенія, съ какими обращаются къ хрупкому, безпомощному ребенку (да таковымъ она и была, въ сущности, въ эту свою юную пору). „Ты ни въ чемъ не виновата, ни въ чемъ!“ повторяетъ онъ настойчиво нѣсколько разъ. И посмотрите — какъ онъ принимаетъ самую смерть? Отнюдь не какъ страшную гостью, а какъ желанную освободительницу. Онъ испытываетъ страшныя мученія и не жалуется — душевныя муки, которыя онъ испытывалъ до роковой развязки, куда были невыносимѣе физическихъ... Извѣстныя милостивыя слова Государя вливаютъ новый успокоительный бальзамъ въ его душу. Въ самомъ дѣлѣ, что его ожидало впереди? Полное разореніе, нищета семьи, новое поношеніе его писательскаго званія, отъ пренебреженія къ которому онъ такъ глубоко страдалъ — а теперь: долги уплачены, дѣти обезпечены, честь супружеская и, въ особенности, писательская — спасена. И, вдобавокъ, въ передней тѣснится непрерывная толпа народа, потрясенная роковымъ извѣстіемъ. „Спасибо имъ!“ шепчетъ обрадованный Пушкинъ. Часть пророчества его уже сбывается:

„Нѣтъ! весь я не умру! Душа въ завѣтной лирѣ
Мой прахъ переживетъ и тлѣнья убѣжитъ...“

А жена не виновата. И въ этомъ мы должны повѣрить болѣе, чѣмъ когда-либо, на слово Пуш-

кину... На порогѣ смерти не говорятъ лишнихъ словъ—и эти слова являютъ собой не только интимный, но и глубокознаменательный, такъ сказать, обобщающій смыслъ, выдвигающій основную причину трагическаго событія далеко за предѣлы заурядной свѣтской сплетни. Въ присутствіи друзей онъ еще разъ подтверждаетъ: „она ни въ чемъ не виновата, ни въ чемъ!“

И если это такъ, то мнѣ думается, что многострадальная тѣнь Пушкина должна быть глубоко оскорблена полнѣйшимъ пренебреженіемъ къ могилѣ той, на алтарѣ любви къ которой онъ почерпалъ свои чистѣйшія и возвышеннѣйшія вдохновенія...

„Благоговѣя богомольно
Предъ святыней красоты...“

Приближается сороколѣтіе со дня кончины Н. Н.—и пора, по моему, установить болѣе обстоятельное и безпристрастное отношеніе къ ея личности, утратившей, благодаря крайнимъ нападкамъ съ съ одной стороны и излишней ревнивой защиты съ другой, свой подлинный жизненный характеръ!..

НЕСКРОМНЫЯ ДОГАДКИ.

(По поводу „Каменнаго Гостя“ Пушкина).

Характерная черта, отличающая всякаго искренняго человѣка, заключается, какъ извѣстно, въ томъ, что искренній человѣкъ всегда говоритъ то же, что думаетъ. Та же основная драгоцѣнная черта отличаетъ и всякаго искренняго художника: т. е. онъ пишетъ то же самое, что думаетъ и переживаетъ. И, чѣмъ выше писатель, какъ художникъ, тѣмъ труднѣе уловима эта реалистическая основа, тѣмъ менѣе обнажены глазу корни цвѣтущаго классическаго древа, спасительной тѣнью котораго мы безпечно наслаждаемся... Поэтому пытливому изслѣдователю классическаго писателя приходится положить немало труда, прежде чѣмъ доискаться этихъ таинственныхъ животворящихъ корней, невредимо сохраняющихъ такое древо жизни на долгіе вѣка, на радость и удивленіе потомства.

Съ перваго взгляда казалось бы, что Пушкинъ въ этомъ отношеніи представляетъ наименѣе затрудненія для подобнаго изысканія... Изъ немногочисленнаго наличнаго состава русскихъ классическихъ писателей трудно указать другого, натура

котораго заключала бы въ себѣ столько блестящаго ума, широкой отзывчивости и высокаго вдохновенія и, вмѣстѣ, такую плѣнительную открытость характера, столько безпечнаго добродушія и чисто дѣтской искренности. Это простодушно-тѣсное единеніе въ Пушкинѣ реальной жизни, въ самыхъ, повидимому, прозаическихъ ея мелочахъ, съ самой глубокой поэзіей—подчасъ прямо умилительно... Напримѣръ, въ письмѣ Пушкина къ женѣ отъ 25 сентября 1835 года — письмѣ чисто домашняго характера, встрѣчаются, между прочимъ, такія строки: „Въ Михайловскомъ нашелъ я все по-старому, кромѣ того, что нѣтъ ужъ въ немъ няни моей, и что около знакомыхъ старыхъ сосенъ поднялась, во время моего отсутствія, молодая сосновая семья, на которую досадно мнѣ смотрѣть, какъ иногда досадно мнѣ видѣть молодыхъ кавалергардовъ на балахъ, на которыхъ уже не пляшу“... И почти одновременно съ письмомъ выливается изъ-подъ того же волшебнаго пера знаменитая элегія: „Вновь я посѣтилъ тотъ уголокъ земли“... съ знаменитыми строфами, которыя, по сличенію съ означеннымъ прозаическимъ письмомъ, оказываются до нѣкоторой степени старыми знакомыми:

„Уже старушки нѣтъ, ужъ за стѣною
Не слышу я шаговъ ея тяжелыхъ,
Ни утреннихъ ея дозоровъ“...

И потомъ тоже о соснахъ:

„. . . . . Онѣ все тѣ же,
Все тотъ же ихъ знакомый слуху шорохъ,
Но около корней ихъ устарѣлыхъ,

Гдѣ нѣкогда все было пусто, голо,
Теперь младая роща разрослась;
Зеленая семья кругомъ тѣснится
Подъ сѣнью ихъ, какъ дѣти"—и т. п.

Я взялъ случайный, нарочно нѣсколько наивный примѣръ, чтобы ярче отмѣтить черту означеннаго искренняго единенія. Этой реальной подкладки, подбивающей и отогрѣвающей всѣ наиболѣе зрѣлыя произведенія Пушкина, лишены, по общераспространенному мнѣнію, лишь высочайшія созданія поэта, относящіяся къ послѣднему періоду его творчества: „Скупой рыцарь", „Моцартъ и Сальери" и „Каменный Гость"—„Каменный Гость", въ особенности... По какому-то странному предубѣжденію, это—по выраженію Бѣлинскаго—„совершеннѣйшее произведеніе искусства, роскошный алмазъ въ вѣнцѣ Пушкина" занимаетъ въ ряду созданій поэта какое-то совсѣмъ исключительное мѣсто по своей, такъ сказать, классической отвлеченности — точно настоящій каменный гость, забравшійся въ толпу своихъ живыхъ собратій... Но откуда же, спрашивается, тогда неотразимая жизненность, чарующая неувядаемость этого, дѣйствительно, рѣдчайшаго перла искусства? Живая вода можетъ быть только изъ живого источника, и теорія Достоевскаго о „всечеловѣчествѣ" русскаго генія, подпирающая пьедесталъ „Каменнаго Гостя", мало вяжется съ истинными законами поэтическаго творчества, неизмѣнными съ начала міра, какъ законы дѣторожденія... Что Пушкинъ обладалъ способностью „перевоплощаться вполнѣ въ чужую національность" и что фабула „Каменнаго Гостя" навѣяна пьесами Тирсо де-Молина и

Мольера, очень мало доказываетъ, ибо прочность всякой одежды, точно такъ же, какъ и художественной формы, зависитъ не отъ фасона и цвѣта, а отъ добротности матеріи, т. е. въ художественномъ отношеніи, отъ большей или меньшей *прочувствованности* даннаго произведенія. „Школа женщинъ“ Мольера оттого такъ жизненна и популярна, что сюжетъ ея пережитъ самимъ авторомъ, и, подъ оболочкой Арнольфа и Агнесы, выведена живая исторія самого Мольера и его легкомысленной возлюбленной (Маделены Бежаръ). „Перечтите Каменнаго Гостя“, восторженно восклицаетъ Достоевскій:—„и еслибъ не было подписи Пушкина, вы бы никогда не узнали, что это написалъ не испанецъ“!..

Беру на себя дерзость признаться, что, перечитывая въ послѣднее время много разъ Пушкина, я пришелъ къ очень обыкновенному — а пожалуй если хотите, къ очень необыкновенному убѣжденію—что „Каменный Гость“ написалъ нисколько не испанецъ (несмотря на волшебный обманъ внѣшней колоритности), а именно, и, такъ сказать, реально неизбѣжно... Александръ Сергѣевичъ Пушкинъ, собиравшійся повѣнчаться на Натальѣ Николаевнѣ Гончаровой и пророчески перестрадавшій, пережившій и изобразившій роковую судьбу свою въ этомъ высочайшемъ произведеніи своемъ... Повторяю, оно именно оттого и высочайшее, что Пушкинъ вложилъ въ него какъ бы „итогъ своей жизни“ и, точно въ фокусѣ, въ волшебномъ зеркалѣ искусства отразилъ, и притомъ съ геніально цѣломудренной сжатостью, высочайшее потрясеніе и чувство своей личной жизни!!..

Смѣшно, въ самомъ дѣлѣ, полагать, что Пушкинъ, очутившись въ 1830 г. въ с. Болдинѣ, очутившись, вдобавокъ, въ самомъ тяжеломъ состояніи человѣческаго духа, зорко и меланхолично углубленный въ себя и, по собственному признанію, „обезпокоенный и волнуемый своимъ будущимъ“ (наканунѣ роковой женитьбы и въ петлѣ разныхъ денежныхъ затрудненій), принявшись за „Каменнаго Гостя“, сказалъ бы себѣ беззаботно: „А дай-ка, попробую настрочить что-нибудь изъ испанскаго быта“?—Но, надо отдать справедливость, завернулся онъ въ свой символическій испанскій плащъ такъ ловко и живописно, что всѣ приняли его за настоящаго испанца, начиная съ Анненкова и Бѣлинскаго и кончая Достоевскимъ, и не замѣтили—правда, тщательно скрытаго подъ классическими складками—глубоко страдающаго лица поэта. (Также едва ли вѣрно мнѣніе Анненкова, что мотивъ „Каменнаго Гостя“ навѣянъ представленіемъ оперы „Донъ-Жуанъ“ Моцарта. Вѣрнѣе всего, что внѣшняя, анекдотическая сторона „Донъ-Жуана“ и „Моцарта и Сальери“ подхвачена Пушкинымъ изъ бесѣды съ авторомъ біографіи Моцарта Улыбышевымъ, съ которымъ, судя по запискамъ А. О. Смирновой, поэтъ встрѣчался у Карамзиныхъ и который могъ случайно натолкнуть его на оба мотива. Какъ всѣ великіе поэты, Пушкинъ инстинктивно тяготѣлъ къ общечеловѣческимъ мотивамъ, стремясь слить свое „личное“ съ „вѣчно-міровымъ“, коего зерно онъ носилъ въ себѣ по самому существу генія).

Усиленное стараніе Пушкина въ послѣдніе годы скрывать лучшія вещи свои (иначе говоря, „луч-

шія чувства“ свои) подъ таинственнымъ Anonyme и самый фактъ, что „Каменный Гость“ появляется въ печати лишь черезъ два года послѣ смерти поэта—все это глубоко знаменательно. Горькимъ опытомъ онъ убѣдился, что драгоцѣннѣйшія сокровища души своей приходится оберегать не только отъ толпы, но также и отъ друзей, ибо чѣмъ выше росъ поэтъ и въ своихъ произведеніяхъ, и въ своемъ собственномъ сознаніи, тѣмъ мелко-придирчивѣе становились къ нему окружающіе.

„Поэтъ не дорожи любовію народной!..“ пишетъ онъ той же осенью 1830 г.... и замыкается, какъ истый чародѣй, въ волшебномъ замкѣ своихъ поэтическихъ сновидѣній. Въ этомъ случаѣ с. Болдино, гдѣ онъ замыкался въ полнѣйшемъ уединеніи не только отъ друзей, но и отъ сосѣдей, сыграло въ дѣлѣ пушкинскаго творчества благодѣтельнѣйшую роль. „Ахъ, мой милый! Что за прелесть здѣшняя деревня! вообрази: степь, да степь; сосѣдей ни души; ѣзди верхомъ сколько душѣ угодно, пиши дома, сколько вздумается, никто не помѣшаетъ. Ужъ я тебѣ приготовлю всячины, и прозы, и стиховъ“... (пишетъ онъ Плетневу 9 сентября 1830 г.). А уже 9 декабря того же года, т. е. всего черезъ три мѣсяца, докладываетъ ему же, изъ Москвы, что именно приготовилъ: „Скажу тебѣ (за тайну), что я въ Болдинѣ писалъ, какъ давно уже не писалъ. Вотъ что я привезъ сюда: 2 послѣднія главы Онѣгина, 8 и 9, совсѣмъ готовыя въ печать; повѣсть, писанную октавами (стиховъ 400), которую выдадимъ Anonyme; нѣсколько драматическихъ сценъ или маленькихъ трагедій,

именно: „Скупой Рыцарь“, „Моцартъ и Сальери“, „Пиръ во время чумы“ и „Д.-Жуанъ“. Сверхъ того написалъ около 30 мелкихъ стихотвореній. Хорошо? Еще не все (весьма секретное, для тебя единаго): написалъ я прозою 5 повѣстей“...

Кромѣ того (въ особенности осенью 1830 г.), Болдино играло въ жизни Пушкина какъ бы роль своего рода „душевной контрольной палаты“, гдѣ онъ на свободѣ, одинъ-на-одинъ, размышлялъ о юности своей...

„Утраченной въ безплодныхъ испытаньяхъ,
О строгости заслуженныхъ упрековъ,
О дружбѣ, заплатившей мнѣ обидой
За жаръ души довѣрчивой и нѣжной—
И горькія кипѣли въ сердцѣ чувства“...

Но изъ этого скорбящаго сердца вырастали затѣмъ чудесные сказочные цвѣты, нѣжнѣйшій и удивительнѣйшій изъ которыхъ есть безспорно „Каменный Гость“...

Давно-давно, еще въ бытность мою въ гимназіи — и притомъ въ самыхъ первыхъ классахъ — учитель словесности, пояснявшій намъ, малышамъ, красоты Пушкинскаго „Мѣднаго Всадника“, задалъ по этому поводу классныя сочиненія. Какъ теперь помню, на мою долю досталось сочиненіе на тему: „О чемъ думалъ Петръ Великій, стоя на берегу пустынныхъ волнъ“. Признаться, много потѣлъ я надъ этимъ мудренымъ вопросомъ и такъ и не додумался до того, о чемъ Петръ Великій думалъ, за что и былъ наказанъ единицей. И вотъ, спустя

слишкомъ 30 лѣтъ, выростаетъ передо мной вопросъ не менѣе любопытный: „о чемъ думалъ Пушкинъ осенью 1830 г., сидя въ с. Болдинѣ“?!..

Думы эти были, какъ извѣстно, весьма невеселаго свойства. Приближеніе холеры, денежныя затрудненія и разныя волненія и огорченія, вызванныя предстоящей свадьбой,—все это настраивало мысль и лиру поэта на самый скорбный ладъ... И вотъ, подъ вліяніемъ грознаго призрака смерти, онъ пишетъ потрясающія сцены „Пиръ во время чумы“; денежный гнетъ вызываетъ въ немъ злыя мысли о предательской власти денегъ, что отражается, болѣе чѣмъ прозрачно, въ „Скупомъ Рыцарѣ“. Его собственное высокое положеніе, какъ писателя и, вмѣстѣ, оскорбительная тяжкая матеріальная зависимость, весьма недалеки отъ положенія благороднаго рыцаря Альбера, вынужденнаго обращаться за презрѣннымъ металломъ къ „презрѣнному жиду“. А трагическая сцена барона съ сыномъ, разыгрывающаяся въ присутствіи герцога, — весьма недвусмысленно намекаетъ на извѣстную тяжелую сцену, происшедшую въ с. Михайловскомъ между Пушкинымъ-сыномъ и Пушкинымъ-отцомъ, въ присутствіи брата Льва (посланіе поэта къ В. А. Жуковскому по этому поводу до сихъ поръ нельзя читать безъ щемящаго сердце чувства). Наконецъ, „Моцартъ и Сальери“ и „Каменный Гость“?.. Останавливаюсь на „Каменномъ Гостѣ“...

Не будучи присяжнымъ пушкиньянцемъ и не имѣя подъ рукой рукописи „Каменнаго Гостя“, я отнюдь не покушаюсь на точное изслѣдованіе его реальныхъ основъ—мое дѣло лишь повѣрить чи-

тателю рядъ нѣкоторыхъ своихъ „нескромныхъ догадокъ“, поставивъ на этомъ таинственномъ пути посильныя вѣхи...

Я уже говорилъ, что поэтъ въ этомъ, повидимому чисто фантастическомъ произведеніи, свелъ чисто реальные счеты своей жизни не только въ настоящемъ, но и въ будущемъ. Это, такъ сказать, самое „сгущенное“ Пушкинское произведеніе и оттого такое скульптурно-неотразимое по впечатлѣнію съ первой строки до послѣдней (на сценѣ, впрочемъ, только одинъ покойный Эрнесто Росси сумѣлъ удивительно подчеркнуть эту скульптурность).

Однако, какъ же это такъ—вдругъ „реализмъ“ и „личные счеты“, когда героемъ является Донъ-Жуанъ... Позвольте, а развѣ самъ Пушкинъ не былъ Донъ-Жуаномъ и, подводя „итоги“, не могъ развѣ всмотрѣться пристальнѣе въ собственное зеркало? Да вѣдь еслибъ портреты всѣхъ реальныхъ увлеченій Пушкина (не говоря уже о платоническихъ) можно было собрать въ особомъ отдѣленіи при Пушкинскомъ музеѣ, такъ вѣдь, пожалуй, одной залы показалось бы мало. Не говоря уже объ извѣстномъ „Ушаковскомъ альбомѣ“, гдѣ перечисленъ чуть не весь алфавитъ женскихъ именъ, бывшихъ предметомъ его временнаго обожанія, онъ самъ признается, наканунѣ женитьбы своей, княгинѣ В. Ѳ. Вяземской, „что его любовь къ Nathalie счетомъ сто третья“. И исто-русскому человѣку, каковымъ былъ Пушкинъ (хотя, какъ Донъ-Жуанъ, мало чѣмъ уступавшему своему испанскому прототипу), такъ естественно было подумать, въ ожиданіи „Колеры Морбусъ“, о грѣхахъ молодости, о спасеніи души, даже объ адѣ кро-

мѣшномъ... Но не будемъ забѣгать впередъ. *Сцена первая, Донъ-Жуанъ и Лепорелло.*

По-вашему, и „Лепорелло“ тоже реальная личность, т. е. списана съ кого-нибудь изъ живыхъ лицъ? Непремѣнно... И, знаете, мнѣ сдается, съ кого? Съ собственнаго лакея Пушкина, извѣстнаго „Ипполита“, служившаго ему неизмѣнно въ Петербургѣ, путешествовавшаго съ нимъ въ Михайловское и Оренбургъ, бывшаго невольнымъ довѣреннымъ его любовныхъ шалостей и, наконецъ, принявшаго изъ кареты угасающаго поэта, по возвращеніи съ дуэли. Къ сожалѣнію, крѣпостное право наложило свою крѣпостную печать и на мемуары о Пушкинѣ, пренебрежительно опустившіе на своихъ страницахъ характеристику прислугъ— и о нянѣ и камердинерѣ Пушкина мы знаемъ сравнительно мало, большею частью изъ писемъ самого же Пушкина. Но, судя по немногимъ добродушно снисходительнымъ строкамъ, относящимся къ означенному Ипполиту, типъ былъ несомнѣнно комическій, весьма сродный по чертамъ съ Лепорелло. Возьмите, напримѣръ, строки изъ письма Пушкина къ женѣ изъ Оренбурга: „Одно меня сокрушаетъ—человѣкъ мой. Вообрази себѣ тонъ московскаго канцеляриста, глупъ, говорливъ, черезъ день пьянъ, ѣстъ мои холодные дорожные рябчики, пьетъ мою мадеру, портитъ мои книги и по станціямъ называетъ меня то графомъ, то генераломъ. Бѣситъ меня, да и только, свѣтъ-то мой Ипполитъ!“ Въ другомъ мѣстѣ: „Важное открытіе: Ипполитъ говоритъ по-французски“!.. И далѣе: „Кто-то ко мнѣ входитъ. Фальшивая тревога: Ипполитъ принесъ мнѣ кофей“...

Очевидно, между слугой и бариномъ существовали самыя благодушныя отношенія, весьма близкія къ тѣмъ, какія мы видимъ между Донъ-Жуаномъ и Лепорелло. Ипполитъ, какъ и подобный же типъ слуги въ лицѣ камердинера отца Пушкина Гаврилы („la beau Gabriel"), питалъ слабость къ столичной жизни, и ему, конечно, были не по душѣ ссылка и иныя причины, заставлявшія его странствовать съ бариномъ по разнымъ захолустьямъ. Словомъ, возгласъ Лепорелло:

„Проклятое житье! Да долго ль будетъ
Мнѣ съ нимъ возиться! Право, нѣтъ ужъ силъ!"

весьма сродни настроенію Ипполита. Вообще, ощущеніе личной ссылки, пережитой Пушкинымъ, играетъ не послѣднюю роль въ первой сценѣ „Каменнаго Гостя"... (Напримѣръ, декабрьская попытка Пушкина явиться самовольно въ столицу изъ Михайловскаго явно нашла отраженіе въ словахъ Лепорелло:

„А завтра же до короля дойдетъ,
Что Донъ-Жуанъ изъ ссылки самовольно
Въ Мадридъ явился—что тогда, скажите,
Онъ съ вами сдѣлаетъ?.."

Иду далѣе. Донъ-Жуанъ вспоминаетъ о своихъ любовныхъ приключеніяхъ—и на первомъ мѣстѣ: „Инеза"...

„. . . . . Бѣдная Инеза!
Ея ужъ нѣтъ! Какъ я любилъ ее!"

вздыхаетъ задумчиво Донъ-Жуанъ. Не нахожу препятствія, почему бы этотъ глубокій вздохъ,

исходящій изъ самаго сердца, не отнести по адресу красавицы Ризничъ, такъ много заставлявшей страдать поэта отъ ревности, имя которой онъ обезсмертилъ двумя перлами поэзіи („Для береговъ отчизны дальней", „На смерть Ризничъ"). Возьмемъ теперь изъ сокровищницы воспоминаній Льва Павлищева отрывокъ характерной бесѣды между Пушкинымъ и его сестрой, Ольгой Павлищевой (бесѣда происходила за годъ до женитьбы Пушкина). Сестра увѣряетъ поэта, что онъ до сихъ поръ не испыталъ искренней любви, и что всѣ его увлеченія были капризы, восхищенія, все, что угодно, но не искренняя любовь... и тоска его по Ризничъ тоже временная... И вотъ подлинныя слова поэта: „Никогда, мнѣ кажется, я не въ состояніи забыть мою любовь къ этой прелестной одесской итальянкѣ... Бѣдная Ризничъ! Никого я такъ не ревновалъ, какъ ее, когда въ моемъ присутствіи, что мнѣ было хуже ножа, она кокетничала съ другимъ; а разъ, если никого такъ сильно не ревновалъ, то и никого такъ сильно не любилъ... Любовь, по-моему, измѣряется ревностью. А ревновалъ я ее, быть можетъ, и неосновательно. Никого, никого такъ искренно до сихъ поръ не любилъ"... И далѣе: „Что тамъ ни говори, сестра, безъ глубокой печали не могу вспомнить о бѣдной Ризничъ"!..

„А мужъ ея былъ негодяй суровый —
Узналъ я поздно... Бѣдная Инеза!"

Опять реальный фактъ. Богатый помѣщикъ Сабаньскій, съ которымъ Ризничъ уѣхала изъ Одессы въ Вѣну, какъ извѣстно, скоро ее бросилъ,

и она умерла въ нищетѣ и одиночествѣ. Лишь въ описаніи наружности Ризничъ поэтъ, какъ бы преднамѣренно отступаетъ отъ оригинала, сливая описательныя черты съ воспоминаніемъ объ Екатеринѣ Раевской, умершей въ чахоткѣ. И Ризничъ и Раевская, повидимому, были предметомъ наиболѣе глубокаго увлеченія поэта:

„И нѣтъ отрады мнѣ—и тихо предо мной
Встаютъ два призрака младые,
Двѣ тѣни милыя—два данные судьбой
Мнѣ ангелы во дни былые!“
(Стих. „Воспоминаніе“).

Но Лепорелло (также какъ и сестра поэта) относится скептически къ тоскѣ Донъ-Жуана по Инезѣ...

Лепорелло. Что жъ? Вслѣдъ за ней другія были...

Донъ-Жуанъ. Правда.

Лепорелло. А живы будемъ, будутъ и другія.

Донъ-Жуанъ. И то.

Лепорелло. Теперь которую въ Мадридѣ отыскивать мы будемъ?

Донъ-Жуанъ. О, Лауру! Я прямо къ ней бѣгу явиться...

И вотъ опять живой списокъ. Характеръ Лауры, веселой, легкомысленной, живущей одной любовью и не думающей о завтрашнемъ днѣ, кружащей головы испанскимъ грандамъ, одинаково и мрачному Донъ-Карлосу, и жизнерадостному Донъ-Жуану... какъ нельзя болѣе сходенъ съ характеромъ Тригорской Лауры — А. П. Кернъ — стоитъ

только перенестись воображеніемъ изъ комнаты Лауры въ окрестности Тригорскаго... Тамъ—та же гитара, то же пѣніе, тѣ же восторги веселой компаніи—и, только, вмѣсто испанскаго романса, Лаура—Кернъ очаровательно поетъ романсъ Козлова на голосъ венеціанской баркароллы. А. П. Кернъ, въ которую Пушкинъ такъ страстно влюбился въ Тригорскомъ, которой, несмотря на это, не разъ измѣнялъ, и которую затѣмъ посѣщалъ въ Петербургѣ, уже женатый, какъ „только другъ", когда она впала въ нужду—вполнѣ могла примѣнить къ нему слова Лауры, относящіяся къ Донъ-Жуану... Гости восхищаются пѣніемъ Лауры.

„Какіе звуки! сколько въ нихъ души.
А чьи слова, Лаура?
Лаура. Донъ-Жуана. Ихъ сочинилъ когда-то
Мой вѣрный другъ, мой вѣтренный любовникъ".

(Что касается Донъ-Карлоса, мрачный силуэтъ котораго весьма сродни меланхолической фигурѣ поэта Боратынскаго — онъ могъ быть, въ то же время, двойникомъ самого Пушкина, символически отразивъ его тогдашній мрачный взглядъ на жизнь, съ непрестанной мыслью о смерти и бренности всего земного!).

Но вотъ на сцену появляется „Донна-Анна"... Подъ чернымъ покрываломъ Донъ-Жуанъ не могъ разглядѣть ее вполнѣ, но успѣлъ замѣтить маленькую ножку — и уже въ восторгѣ, совершенно какъ Пушкинъ, питавшій, какъ извѣстно, непреодолимую слабость къ маленькой женской ножкѣ, не разъ имъ воспѣтой. Но хотя Пушкинъ и увлекался маленькими ножками, у него была слиш-

комъ умная голова, чтобъ не сознавать, про себя, что, беря въ жены женщину свѣтскую, избалованную, вдобавокъ рѣдкую красавицу, онъ ставитъ на карту свою будущность, какъ поэта. И проникновеніе поэта на ухо подсказываетъ ему, что эта женитьба какъ бы послѣдній „пиръ“ его жизни, и „Каменный Гость“ — смерть, можетъ быть, уже недалеко отъ его житейскаго порога!.. Денежная запутанность, строгіе завѣты великаго призванія, невольно попираемые ради личнаго, весьма сомнительнаго счастья, наконецъ, болѣзненные припадки ревности, которымъ поэтъ былъ подверженъ—все это сулило весьма неутѣшительную перспективу. Но, вы знаете, есть одно предательское русское слово: слово... „наплевать“. Ну, и пускай смерть... наплевать! Зато наслажусь вволю... „Эй, Лепорелло... ступай, зови ее на ужинъ!!“ И потомъ чисто художническая черта:

„Все, все, что гибелью грозитъ
Для сердца смертнаго таитъ
Неизъяснимы наслажденья —
Безсмертья, можетъ быть, залогъ.
И счастливъ тотъ, кто средь волненья
Ихъ обрѣтать и вѣдать могъ“...
(„Пиръ во время чумы“).

Недаромъ этотъ стихъ выливается почти одновременно съ созданіемъ „Каменнаго Гостя“—этимъ, быть можетъ, слишкомъ дорогимъ залогомъ поэтическаго безсмертія.

И въ отношеніи Донъ-Жуана къ Доннѣ-Аннѣ, опять все тѣ же „Пушкинскія черты“ молитвеннаго отношенія къ красотѣ; а въ рѣчахъ прямо проскальзываютъ знакомыя слова, которыя мы нахо-

димъ въ письмахъ Пушкина — жениха и мужа — къ Наталіи Николаевнѣ Гончаровой...

„Вы, говорятъ, безбожный развратитель;
Вы сущій демонъ. Сколько бѣдныхъ женщинъ
Вы погубили?“...

говоритъ Донна-Анна Донъ-Жуану, т. е. то же самое, что думала сначала Наталія Николаевна о Пушкинѣ со словъ своей родни (для которой, судя по тѣмъ же письмамъ, Пушкинъ, на словахъ, такъ сказать, „переодѣвался монахомъ“, какъ Донъ-Жуанъ въ „Каменномъ Гостѣ“ переодѣвается на самомъ дѣлѣ).

„Ни одной донынѣ изъ нихъ я не любилъ!!“

признается Донъ-Жуанъ Пушкинъ. И говоритъ на этотъ разъ сущую правду. Теперь его захватила настоящая, роковая любовь, любовь-гибель, ради которой онъ не отступаетъ даже передъ призракомъ смерти.

„Что значитъ смерть? За сладкій мигъ свиданья
Безропотно отдамъ я жизнь“!..

И когда смерть приходитъ... у него вырываются только три слова:

„Я гибну — кончено — о, Донна-Анна!..“

Пророчески неотразимыя слова, опредѣлившія всю дальнѣйшую скорбную судьбу поэта. Это тоскливое предчувствіе смерти съ тѣхъ поръ не оставляетъ его и, наканунѣ написанія „Каменнаго

Гостя“, въ сценахъ „Моцарта и Сальери“ оно же просачивается въ словамъ Моцарта:

„Мнѣ день и ночь покоя не даетъ
Мой черный человѣкъ. За мною всюду,
Какъ тѣнь онъ гонится. Вотъ и теперь,
Мнѣ кажется, онъ съ нами самъ-третей
Сидитъ...“

Ахъ, что это за удивительный перлъ „Моцартъ и Сальери“! Обѣ фигуры такъ заразительно жизненны и, въ то же время, такъ классически безукоризненны по воспроизведенію, точно двѣ античныя статуи, изваянныя рѣзцомъ Фидія. Трудно, кажется, болѣе выпукло передать въ образѣ то плѣнительное добродушіе и беззаботность, которыя отличаютъ истиннаго генія—черты, приравнивающія его по душевной прозрачности къ дѣтямъ. Этого чисто дѣтскаго добродушія и счастливой безпечности было слишкомъ много въ самомъ Пушкинѣ, чтобъ онъ не почерпнулъ изъ своей душевой сокровищницы для созданія родственной ему тонко-сложной фигуры Моцарта.

Относительно „Сальери“ дѣло обстояло, надо полагать, нѣсколько проще. Литература, какъ всякая область искусства, достаточно кишитъ всегда подобными Сальери, и уловленіе типическихъ „сальеревскихъ“ чертъ не могло представлять затрудненія. Какъ теперь встрѣчаются самомнѣнные писатели, которые скрежещутъ зубами отъ самомнѣннаго убѣжденія, что Чеховъ и Толстой стали поперекъ дороги ихъ популярности, такъ и во время Пушкина немало было такихъ „сальеристовъ“, поэтовъ и прозаиковъ, тонувшихъ въ

лучахъ славы Пушкина и Гоголя, и если не наружно, то внутренно и въ интимныхъ кружкахъ, брюзжавшихъ по адресу своего геніальнаго современника. Въ особенности много потонуло поэтовъ и, между прочимъ, талантливѣйшій и умнѣйшій изъ нихъ—Боратынскій. Гордыя крылья его меланхолической музы, красивой, но холодной, какъ бы растопились на солнцѣ живой Пушкинской поэзіи. Теперь это имя принадлежитъ исторіи, и да позволено будетъ вплести его въ психологическую сѣть нашихъ нескромныхъ догадокъ...

На дняхъ, какъ разъ, мнѣ попалась любопытнѣйшая книга, изданная обществомъ ревнителей русскаго историческаго просвѣщенія — „Татевскій Сборникъ“, составленный извѣстнымъ любителемъ русскаго народа и русской литературы С. А. Рачинскимъ, и однимъ изъ интереснѣйшихъ вкладовъ сборника являются письма Е. А. Боратынскаго къ И. В. Кирѣевскому. Письма, въ общемъ, очень красивы по формѣ, очень умны... и очень холодны. Самыя интересныя въ данномъ случаѣ тѣ строки, гдѣ упоминается о Пушкинѣ. „Ты первый изъ всѣхъ знакомыхъ мнѣ людей, съ которымъ изливаюсь я безъ застѣнчивости“, пишетъ Боратынскій Ивану Кирѣевскому и изливаетъ... по адресу Пушкина рядъ замѣчаній, обнаруживающихъ, не взирая на внѣшнюю оболочку корректности и философскаго спокойствія, чувство, весьма недалекое отъ скрытой зависти на чужой громкій успѣхъ. Какъ, напримѣръ, иначе прикажете объяснить его интимный отзывъ объ „Евгеніи Онѣгинѣ“ Пушкина: „Еслибъ все, что есть въ „Онѣгинѣ“, было собственностью Пушкина, то, безъ сомнѣнія,

онъ ручался бы за геній писателя. Но форма принадлежитъ Байрону, тонъ — тоже. Множество поэтическихъ подробностей заимствовано у того, и у другого. Пушкину принадлежатъ въ „Онѣгинѣ“ характеры его героевъ и мѣстныя описанія Россіи. Характеры его блѣдны. Онѣгинъ развитъ неглубоко. Татьяна не имѣетъ особенности. Ленскій ничтоженъ. Мѣстныя описанія прекрасны, но только тамъ, гдѣ чистая пластика. Нѣтъ ничего такого, что бы рѣшительно характеризовало нашъ русскій бытъ. Вообще, это произведеніе носитъ на себѣ печать перваго опыта, хотя опыта человѣка съ большимъ дарованіемъ. Оно блестящее, но почти все ученическое, потому что почти все подражательное. Такъ пишутъ обыкновенно въ первой молодости изъ любви къ поэтическимъ формамъ болѣе, нежели изъ настоящей потребности выражаться. Вотъ тебѣ теперешнее мое мнѣніе объ „Онѣгинѣ“. Повѣряю его тебѣ за тайну и надѣюсь, что она останется между нами, ибо мнѣ весьма некстати строго критиковать Пушкина...“

Однако, это не помѣшало Боратынскому, вскорѣ послѣ появленія „Евгенія Онѣгина“, написать поэму „Балъ“, гдѣ онъ явно подражаетъ Пушкину и даже замѣтно старается съ нимъ конкурировать... а это бы, казалось, уже совсѣмъ некстати. Сцена, напримѣръ, между „княгиней Ниной“ и „мамушкой“—претенціозный сколокъ съ знаменитаго діалога Татьяны и няни въ третьей главѣ „Евгенія Онѣгина“; только у Пушкина живая жизнь и живые типы, а здѣсь плохая мелодрама и Нина-Татьяна и Арсеній-Евгеній—блѣдныя тѣни по сравненію съ фигурами Пушкина. (Даже въ

пресловутой „Эдѣ“, такъ товарищески великодушно превознесенной Пушкинымъ, нельзя не видѣть довольно прозрачнаго отраженія „Кавказскаго Плѣнника“).

Не менѣе безпощадны и остальныя замѣчанія Боратынскаго по адресу Пушкина. Напримѣръ, сказки Пушкина, по мнѣнію Боратынскаго, переводя изящную прозу его письма на простой языкъ— ни къ чорту не годятся: „Что за поэзія слово въ слово привести въ риѳмы Еруслана Лазаревича или Жаръ Птицу?“ пишетъ онъ по поводу Царя Салтана“.—„И что это прибавляетъ къ литературному нашему богатству? Оставимъ матеріалы народной поэзіи въ ихъ первобытномъ видѣ, или соберемъ ихъ въ одно полное, цѣлое, которое настолько бы ихъ превосходило, сколько хорошая исторія превосходитъ современныя записки. Матеріалы поэтическіе иначе нельзя собрать въ одно цѣлое, какъ черезъ поэтическій вымыселъ, соотвѣтственный ихъ духу и по возможности всѣ ихъ обнимающій. Этого далеко нѣтъ у Пушкина. Его сказка равна достоинствомъ одной изъ нашихъ старыхъ сказокъ — и только (?). Можно даже сказать, что между ними она не лучшая. Какъ далеко отъ этого подражанія русскимъ сказкамъ до подражанія русскимъ пѣснямъ Дельвига. Однимъ словомъ, меня сказка Пушкина вовсе не удовлетворила“. — Подумаешь, что осталось отъ Дельвига... тогда какъ русскія сказки Пушкина, по собственнымъ словамъ составителя сборника (какъ извѣстно близкаго родственника Боратынскаго), послужили волшебнымъ мостомъ, впервые соединившемъ народную рѣчь съ литературной. Отъ „Бориса Годунова взыскатель-

ный корреспондентъ Кирѣевскаго тоже не въ особенномъ восторгѣ и радъ вѣрить на слово своему брату, слышавшему трагедію Хомякова, что она далеко превосходитъ пушкинскій шедевръ.

И въ другихъ мѣстахъ, гдѣ слышится имя Пушкина—ни тѣни теплоты или проблеска восторга передъ очарованіемъ Пушкинской музы. Въ одномъ мѣстѣ: „Давно со тобой не видѣлся оттого, что занятъ былъ Пушкинымъ". И только. — Въ другомъ мѣстѣ: „Повѣсти Бѣлкина я знаю. Пушкинъ мнѣ читалъ ихъ въ рукописи. Напиши мнѣ о нихъ свое мнѣніе".—И тутъ же, рядомъ, въ сосѣднемъ письмѣ: „Я послалъ Пушкину свое то и то"... А ниже явно обличительная черта, намекающая на тайнаго червяка, который сосетъ современника Пушкина: „Я не отказываюсь писать; но хочется на время, и даже долгое время, перестать печатать. Поэзія для меня—не самолюбивое наслажденіе. Я не имѣю нужды въ похвалахъ (разумѣется, черни), но не вижу, почему обязанъ подвергаться ея ругательствамъ"...

И сопоставьте теперь съ этими скупыми, почти пренебрежительными, строками, отзывы Пушкина о Боратынскомъ — тамъ, что ни слово—истинный восторгъ, открытая душа, которая дѣтски радуется малѣйшему дуновенію истиннаго таланта, товарищеская тревога о всякихъ житейскихъ мелочахъ, касающихся Е. А. „Сейчасъ пишу къ ней (къ П. А. Осиповой) и отсылаю Эду—что за прелесть эта Эда! Оригинальности разсказа наши критики не поймутъ. Но какое разнообразіе! Гусаръ, Эда и самъ поэтъ—всякій говоритъ по-своему. А описаніе финляндской природы! А утро послѣ первой

ночи! А сцена съ отцомъ! Чудо!“ (Дельвигу о поэмѣ Боратынскаго). Въ другомъ мѣстѣ: „Увѣдомь о Боратынскомъ — свѣчку поставлю за Закревскаго, если онъ его выручитъ!“ [Изъ письма къ Л. С. Пушкину] — и т. д., и т. д. Не говоря уже о дружески-горячей статьѣ о сочиненіяхъ Боратынскаго и стихотворныхъ посланіяхъ къ Е. А. — Все это, впрочемъ, достаточно извѣстно — пожалуй, гораздо болѣе извѣстно, чѣмъ самыя сочиненія Боратынскаго. И если вспомнить при этомъ, что въ т. с. оффиціальныхъ письмахъ самому Пушкину [число коихъ, кстати сказать, подозрительно ограничено] Боратынскій расточаетъ ему всевозможныя похвалы и даже сравниваетъ, въ одномъ мѣстѣ его дѣятельность въ области поэзіи съ таковой же дѣятельностью Петра Великаго въ области государственной, — то тутъ ужъ выходитъ не только обычное у вторыхъ номеровъ jalousie de métier, но прямо вѣроломство.

Но для такого большого человѣка, какъ Пушкинъ, дѣло, надо думать, было не столько въ самой личности Боратынскаго, сколько, вообще, въ самомъ фактѣ, что въ достойномъ человѣкѣ, на-ряду съ умомъ и талантомъ, могло ужиться такое презрѣнное чувство, какъ зависть — и это дало энергическій толчокъ поэту заклеймить неизгладимо этотъ гнусный человѣческій порокъ въ образѣ Сальери, какъ нѣкогда Мольеръ заклеймилъ лицемѣріе именемъ Тартюфа. Наконецъ, въ данномъ случаѣ на имя Боратынскаго указываетъ — „искренній союзъ, связущій... двухъ сыновей гармоніи“—самый фактъ дружбы, существовавшей между Пушкинымъ и Боратынскимъ, ихъ переписка на „ты“, самый „ум-

ственный“ складъ дарованія Боратынскаго, глубокое уваженіе, которое питалъ Пушкинъ къ мнѣнію Боратынскаго, которому онъ читалъ свои вещи въ рукописи, и т. п. Словомъ, отношенія, совсѣмъ сходныя съ отношеніями между Моцартомъ и Сальери. И, конечно, отрава, которую бросилъ Сальери въ стаканъ Моцарта, стоила въ своемъ родѣ отравы, которую, быть можетъ, бросилъ въ сердце Пушкина его сомнительный другъ и поклонникъ.

Нѣтъ сомнѣнія, похвалы Пушкина Боратынскому скорѣй доходили до ушей послѣдняго, чѣмъ завистливыя замѣчанія Боратынскаго по адресу Пушкина. Но, разумѣется, разъ они дошли, у оскорбленнаго поэта невольно долженъ былъ вырваться глубоко скорбный вздохъ...

„О дружбѣ, заплатившей мнѣ обидой,
За жаръ души довѣрчивой и нѣжной“.

И, конечно, „Моцартъ и Сальери“ недаромъ былъ озаглавленъ въ рукописи первоначально просто: „Зависть“.

И вотъ посмотрите! Пушкину дружба заплатила обидой, а какъ Пушкинъ отплатилъ за нее, чѣмъ отвѣчаетъ на смертельную обиду? Пишетъ безсмертную пьесу и... помѣщаетъ ее въ сборникѣ, изданномъ имъ въ пользу семьи покойнаго Дельвига... своего *истиннаго* друга.

Отвѣтъ, воистину достойный генія!!

СОМНИТЕЛЬНЫЙ ДРУГЪ.

„...*Боратынскій*, строгій и сумрачный поэтъ, который показалъ такъ рано самобытное стремленіе мыслей къ міру внутреннему и сталъ уже заботиться о матеріальной отдѣлкѣ ихъ, тогда какъ онѣ еще не вызрѣли въ немъ самомъ; темный и неразвившійся, сталъ себя выказывать людямъ и сдѣлался черезъ то для всѣхъ чужимъ и никому не близкимъ. Всѣхъ этихъ поэтовъ возбудилъ на дѣятельность Пушкинъ...“

Гоголь („Выбран. мѣста изъ перепис. съ друз.“).

Одинъ извѣстный профессоръ, дальній родственникъ поэта Боратынскаго, пробѣжавъ въ „Новомъ Времени“ фельетонъ В. В. Розанова „Кое-что новое о Пушкинѣ“ (По поводу моей статьи „Не скромныя догадки“) выразилъ мнѣ письменно свое родственное неудовольствіе, находя мое сближеніе внутренняго облика Боратынскаго съ фигурой Пушкинскаго Сальери „прямо чудовищнымъ“. Въ томъ же смыслѣ, но въ болѣе сдержанномъ тонѣ, откликнулся на эту догадку нѣкто „В. Б.“, помѣстившій въ августовской книжкѣ „Русскаго Архива“ довольно пространную статью „Боратынскій и Сальери“.

Дѣйствительно, фактическія данныя на этотъ счетъ крайне скудны; но зато психологическія, такъ сказать, „междустрочныя данныя“, въ высокой степени характерны и знаменательны.

Я уже говорилъ, что собственно меня натолкнуло на означенное психологическое сближеніе— ни болѣе, ни менѣе, какъ письма самого Е. А. Боратынскаго (къ И. В. Кирѣевскому), опубликованныя въ интересномъ „Татевскомъ Сборникѣ“, С. А. Рачинскаго, тѣ именно строки, гдѣ упоминается о Пушкинѣ. Контрастъ отношеній двухъ поэтовъ другъ къ другу не могъ не броситься въ глаза. Насколько всѣ извѣстные намъ отзывы Пушкина о Боратынскомъ восторженны и дружески пристрастны, настолько помянутые отзывы Боратынскаго о Пушкинѣ рѣзки и явно недружелюбны. Для чуткаго человѣка тонкое предательское „jalousie de métier“ сквозитъ въ каждой строкѣ, несмотря на внѣшнюю корректность. Словомъ, что-то не слыхать, чтобъ такъ писали когда-нибудь истинные друзья и поклонники... и, противъ воли, западаетъ въ душу вопросъ: полно, да ужъ былъ-ли Е. А. Боратынскій, на самомъ дѣлѣ, такимъ истиннымъ другомъ Пушкина, каковымъ онъ до сихъ поръ числится въ оффиціальныхъ литературныхъ спискахъ?!

В. В. Розановъ въ вышеупомянутомъ фельетонѣ, очень вѣрно замѣтилъ: „Отчетливы отношенія къ Пушкину Языкова, Дельвига, Пущина, горе по немъ Гоголя, стихи о немъ Лермонтова; но одинъ другъ, о которомъ самъ Пушкинъ высказалъ самыя шумныя похвалы въ печати, всегда выдвигая его съ собой и почти впередъ себя, до

сихъ поръ оставался въ тѣни и неразсмотрѣннымъ въ своемъ обратномъ отношеніи къ Пушкину". („Нов. Вр." № 8763).

Если разсматривать эти отношенія съ хронологической стороны, дѣло представляется въ такомъ видѣ... Въ 1826 г., т. е. въ первые годы своего знакомства съ великимъ поэтомъ, Боратынскій пишетъ ему между прочимъ: „Жажду имѣть понятіе о твоемъ Годуновѣ. Чудесный нашъ языкъ ко всему способенъ: я это чувствую, хотя не могу привести въ исполненіе. Онъ созданъ для Пушкина, а Пушкинъ—для него. Я увѣренъ, что трагедія твоя исполнена красотъ необыкновенныхъ. Иди, довершай начатое ты, въ комъ поселился геній!. . . . . .

. . . . . .

„Эду" для тебя не переписываю, потому что она на дняхъ выйдетъ изъ печати. Дельвигъ, который въ Петербургѣ смотритъ за изданіемъ, тотчасъ доставитъ тебѣ экземпляръ и, пожалуй, два, ежели ты не полѣнишься сдѣлать для меня, что сдѣлалъ для Рылѣева... Пиши, милый Пушкинъ,—а я въ долгу не останусь, хотя пишу къ тебѣ съ тѣмъ затрудненіемъ, съ которымъ обыкновенно пишутъ къ старшимъ". Но уже, спустя два года, въ письмѣ къ Пушкину того же Боратынскаго встрѣчаются такія многознаменательныя строки: „Дельвигъ погостилъ у меня короткое время. Онъ много говорилъ мнѣ о тебѣ; между прочимъ передалъ мнѣ одну твою фразу, и ею меня нѣсколько опечалилъ. Ты сказалъ ему: *„Мы нынче не переписываемся съ Боратынскимъ, а то бы я увѣдомилъ его, и проч.— Неужели, Пушкинъ, короче прежняго познакомясь*

въ Москвѣ, мы стали съ тѣхъ поръ болѣе чуждыми другъ другу? Я, по крайней мѣрѣ, люблю въ тебѣ по-старому и человѣка, и поэта"... Затѣмъ слѣдуетъ умная и осторожная обмолвка, намекающая на неуспѣхъ въ публикѣ „Евгенія Онѣгина", и посланіе заканчивается фразой, которая какъ и общій тонъ письма, отдаетъ видимой натянутостью, какъ бы нѣкоторой искусной поддѣлкой подъ настоящую товарищескую руку: „Между тѣмъ, прощай, милый Пушкинъ! Пожалуйста не поминай меня лихомъ!"

Эта неискренность или, лучше сказать, полуискренность при внѣшней мягкости и корректности—шляхетская черточка вовсе не удивительная въ потомкѣ „древняго польскаго дворянскаго рода"—надо полагать не могла не броситься въ глаза такому позорливцу, какъ Пушкинъ. Нѣтъ ничего мудренаго, что познакомясь съ Боратынскимъ „короче", онъ нѣсколько умѣрилъ свое первоначальное увлеченіе имъ, какъ человѣкомъ, и перенесъ свое исключительное сочувствіе на него, какъ на поэта, сочувствіе тѣмъ болѣе великодушное чѣмъ прозрачнѣй для него обнаруживались въ Боратынскомъ признаки извѣстной писательской дурной болѣзни—jalousie de métier. Пушкинъ былъ слишкомъ благороденъ, чтобы „поминать лихомъ" и, когда неожиданно скончался Дельвигъ, онъ взволнованно пишетъ Плетневу: „изо всѣхъ связей дѣтства онъ одинъ оставался на виду—около него собиралась наша бѣдная кучка. Безъ него мы точно осиротѣли. Считай по пальцамъ: сколько насъ? Ты, я, Боратынскій, вотъ и все".

Съ Пушкинской возвышенной точки зрѣнія,

другъ, подверженный дурной болѣзни, все же оставался другомъ, тѣмъ болѣе цѣннымъ при наличномъ умственномъ безлюдьи... и въ томъ же году, онъ посвящаетъ произведеніямъ Боратынскаго товарищески хвалебный гимнъ.—Мы далеки отъ мысли, чтобы считать этотъ золотой отзывъ со стороны Пушкина нѣкотораго рода позолоченной пилюлей, которая должна была заглушить пріемъ другой горькой Пушкинской пилюли, преподнесенной въ слѣдующемъ (послѣ рецензіи!) году, въ видѣ проникновенныхъ сценъ „Моцартъ и Сальери“ —но нѣтъ ничего невѣроятнаго, что скрытно чуткій и болѣзненно самолюбивый Боратынскій могъ освѣтить себѣ дѣло именно такъ.—Но такъ или иначе, съ злополучнаго 1832 года (ранѣе отрывки изъ „Моцарта и Сальери“ Пушкинъ читалъ только въ домѣ Смирновой, гдѣ Боратынскій не бывалъ), т. е. со времени появленія въ „Сѣверныхъ Цвѣтахъ“ означенной пьесы, дружеская декорація отношеній Пушкина и Боратынскаго довольно рѣзко и странно мѣняется. Съ этихъ поръ Пушкинъ, такъ всегда интересовавшійся участью музы Боратынскаго, ни однимъ звукомъ болѣе не поминаетъ о ней въ своихъ письмахъ, и его обильныя посланія послѣднихъ лѣтъ (изъ Оренбурга, изъ Болдина и с. Михайловскаго, съ Плотнянаго завода и т. д., въ которыхъ естественно, казалось бы, должна была проскользнуть нѣжная нотка по адресу своего ближайшаго, послѣ Плетнева, друга—носятъ, въ послѣднемъ отношеніи, какъ бы слѣды благородно молчаливой душевной размолвки. Съ другой стороны, письма Боратынскаго за тѣ же годы (къ благодушному Ивану Кирѣевскому), въ

своихъ „интимныхъ“ отзывахъ о Пушкинѣ, отмѣчены отнынѣ весьма подозрительной рѣзкостью, граничащей прямо съ недружелюбіемъ. Къ „Царю Салтану“ Пушкина онъ относится вполнѣ отрицательно, достоинство „Бориса Годунова“ оставляетъ теперь подъ сомнѣніемъ, а безсмертныя строфы „Евгенія Онѣгина“ приравниваетъ къ ученическому лепету.

В. В. Розановъ очень вдумчиво замѣчаетъ по этому поводу: „Извѣстно необыкновенно горькое чувство, часто соединяемое Пушкинымъ съ мыслью о дружбѣ; между тѣмъ какъ о немъ опредѣленно извѣстно, что самъ онъ былъ чудно открытая и ясная, безоблачная душа. Эта горечь воспоминаній давно могла дать подозрѣніе, что около Пушкина стояла какая-то облачная душа, которую напрасно усиливалась пронизать своими лучами Пушкинская дружба“. Именно—„облачная душа“! Впрочемъ, въ самой атмосферѣ этой семейно-литературной дружбы, послѣ смерти Дельвига, произошло дѣйствительно „нѣчто облачное“ такъ какъ вдова этого незамѣнимаго друга Пушкина, баронесса Дельвигъ, совершенно для всѣхъ неожиданно, менѣе чѣмъ черезъ полгода послѣ смерти мужа, вышла замужъ вторично за родного брата Боратынскаго Сергѣя Абрамовича... Болѣе точныхъ преданій на этотъ счетъ до насъ не дошло, хотя Б. Н. Чичеринъ и называетъ ее въ своихъ мемуарахъ „почтенной хранительницей великой литературной эпохи“ (La veuve de la Grande Armée! какъ ее льстиво окрестилъ Е. А. Боратынскій).

Супруга поэта Боратынскаго, урожденная Энгельгардтъ, тоже, какъ оказывается не отлича-

лась особенной осмотрительностью и, по достовѣрной справкѣ, полученной нами, такія драгоцѣнности какъ письма Пушкина къ Боратынскому, хранила въ своемъ дорожномъ красномъ сундукѣ, который возила всюду съ собой и который въ одинъ изъ ея частыхъ переѣздовъ, былъ украденъ — и украденъ, къ прискорбію, любителемъ не автографовъ, а совсѣмъ иного рода цѣнностей... Ахъ, этотъ красный сундукъ! Вмѣстѣ съ злополучнымъ Гоголевскимъ чемоданомъ, утраченнымъ сестрой Гоголя, онъ могъ бы, вѣроятно, намъ поразсказать много новаго и разрѣшить, можетъ быть, не одну темную загадку великой литературной эпохи!!...

Нечего дѣлать, приходится обратиться къ другому потаенному ларчику, ключъ къ которому подбирается, надо признаться, съ особенной трудностью т. е. обратиться всецѣло къ сокровищницѣ человѣческой психологіи.

Въ 1837 году безвременно погибаетъ Пушкинъ... На его ближайшихъ друзей и поклонниковъ эта смерть производитъ впечатлѣніе громового удара. Погодинъ обращается къ московскимъ студентамъ вмѣсто лекціи, съ горячимъ поминальнымъ словомъ и долго не можетъ начать рѣчь, „буквально задушаемый рыданіями“... Говорить ли о Гоголѣ— онъ былъ совершенно убитъ, душевно надломленъ и съ этого момента, можно сказать, уже никогда болѣе не поправлялся. Спустя два года слишкомъ, онъ вспоминаетъ о Пушкинѣ въ письмѣ къ Плетневу съ тѣмъ содрогающимъ чувствомъ, точно потерялъ его вчера: „Какъ странно! Боже, какъ странно! Россія безъ Пушкина... Я пріѣду въ Петер-

бургъ—и Пушкина нѣтъ. Я увижу васъ—и Пушкина нѣтъ. Зачѣмъ вамъ теперь Петербургъ?...“

Бѣдный, столь несправедливо забытый и столь мало оцѣненный, Эдуардъ Губеръ, для котораго Пушкинъ не сдѣлалъ и десятой доли того, что сдѣлалъ для Боратынскаго, разрѣшается у гроба Пушкина вдохновеннымъ стихотвореніемъ, которое списывается всѣми нарасхватъ.

„Я видѣлъ гробъ его печальный,
Я видѣлъ въ гробѣ блѣдный ликъ
И въ тишинѣ, съ слезой прощальной,
Главой на трупъ его поникъ“!..

У этого же дорогого гроба загорается негодованіемъ другая пламенная душа, стяжавшая своимъ откликомъ на родную скорбь свою первую громкую славу—Лермонтовъ!

Что же Боратынскій? Какъ принялъ онъ извѣстіе о трагической кончинѣ своего литературнаго благодѣтеля?

Единственное свидѣтельство объ этомъ, которое мы имѣемъ, вдобавокъ изъ вторыхъ рукъ, несмотря на свою немногословность, необыкновенно характерно.—О смерти Пушкина Боратынскій, какъ оказывается, узналъ когда дописывалъ свое стихотвореніе „Осень“, которымъ былъ очень доволенъ. Пораженный извѣстіемъ, онъ прервалъ работу... и послѣднія строфы такъ и остались недодѣланными и въ этомъ недодѣланномъ видѣ попали потомъ въ печать. И когда жена Боратынскаго, боготворившая мужа, стала настаивать на ихъ окончательной отдѣлкѣ, онъ отвѣчалъ на это слѣдующимъ стихотвореніемъ, считающимся по родствен-

ному преданію, прямымъ отзвукомъ полученнаго рокового извѣстія:

„Люблю я васъ, богини пѣнья,
Но вашъ чарующій находъ,
Сей сладкій трепетъ вдохновенья—
Предтечей жизненныхъ невзгодъ.
Любовь Каменъ съ враждой Фортуны
Одно. Молчу! Боюся я,
Чтобъ персты, падшіе на струны,
Не пробудили-бы перуны,
Въ которыхъ спитъ судьба моя.
И отрываюсь, полный муки,
Отъ музы ласковой ко мнѣ
И говорю: до завтра, звуки,
Пусть день угаснетъ въ тишинѣ!"

Сравните этотъ благонамѣренный откликъ съ стихотвореніями Эдуарда Губера и Михаила Лермонтова, вызванные кончиной Пушкина, и скажите, по совѣсти, такъ ли откликаются люди сердца на смерть близкаго имъ человѣка?.. Это обстоятельство тѣмъ страннѣе, что всего за пять лѣтъ до смерти Пушкина тотъ же Боратынскій написалъ чудесное стихотвореніе на смерть Гете; а вотъ, подите же, когда умираетъ его близкій другъ и благодѣтель, благополучный помѣщикъ Мурановки суевѣрно открещивается отъ мнимыхъ грядущихъ бѣдъ...

„Пусть день угаснетъ въ тишинѣ!!"...

„Что же за человѣкъ былъ, послѣ этого, Е. А. Боратынскій?...

Смѣшно, разумѣется, было бы отрицать его блестящій умъ, его рѣдкую образованность и выдающееся поэтическое дарованіе, хотя и далеко не той

классической марки, какую прилагаютъ къ его поэзіи кн. П. А. Вяземскій и П. А. Плетневъ. Но также мало остается сомнѣнія и въ томъ, что тѣ „таинство печали“ и „дикій адъ“, о которомъ онъ облачно повѣряетъ своей преданной супругѣ (стих. „Н. А. Боратынской“) въ значительной степени объясняются страданіями обманутаго тщеславія и глубоко скрытаго эгоизма.

Въ 1825 г. онъ пишетъ своему пріятелю Н. В. Путятѣ: „На Руси много смѣшного, но я не расположенъ смѣяться. Во мнѣ веселость усиліе гордаго ума, а не дитя сердца. Съ самаго моего дѣтства я тяготился зависимостью и былъ угрюмъ, былъ несчастливъ. Въ молодости судьба взяла меня въ руки. *Все это служитъ пищею генію; но вотъ бѣда: я не геній. Для чего же все было такъ а не иначе. На этотъ вопросъ захохотали бы всѣ черти!*“

Скажите на милость, да развѣ это не подлинный языкъ Сальери??

Если принять во вниманіе, что Н. В. Путята вскорѣ познакомился съ Пушкинымъ, съ которымъ вошелъ въ самыя сердечныя отношенія,—то нѣтъ ничего удивительнаго, что Пушкинъ, такъ живо интересовавшійся личностью сумрачнаго поэта, могъ знать объ этомъ письмѣ и, во всякомъ случаѣ, толковать съ Путятой по душѣ о нѣкоторыхъ странностяхъ общаго друга. Наконецъ, если бы Боратынскій не былъ глубокой, чрезвычайно интересной натурой, Пушкинъ едва ли бы былъ захваченъ этой демонической черточкой и, конечно, не взялъ бы его за оригиналъ для такой высокотрагической фигуры, какъ Сальери. А что онъ взялъ

его за оригиналъ, это, какъ мы уже говорили, подтверждается разительными психологическими совпаденіями...

„Родился я съ любовію къ искусству!
Ребенкомъ будучи, когда высоко
Звучалъ органъ въ старинной церкви нашей,
Я слушалъ и заслушивался“...

Какъ извѣстно, „ребенкомъ будучи“, Е. А. воспитывался подъ руководствомъ дядьки итальянца, разсказами котораго о Римѣ и соборѣ Петра онъ заслушивался совершенно также, какъ Сальери въ дѣтствѣ—органомъ старинной католической церкви...

„Везувій, Колизей, гротъ Капри, храмъ Петра
Имѣлъ ты на устахъ отъ утра до утра“...

Оговаривается знаменательно самъ Боратынскій въ стихотвореніи, посвященномъ этому благодушному старику итальянцу, всего за двѣ недѣли до своей смерти. Очевидно, на впечатлительную душу ребенка „стариннаго дворянскаго польскаго рода“ эти увлекательные разсказы старика католика о мрачномъ величіи стариннаго храма произвели неизгладимое впечатлѣніе.

Затѣмъ, если мы внимательно перелистаемъ стихотворенія Боратынскаго, мы найдемъ и еще кой-какіе психологическіе документы по части „сальеризма“. Подозрительныя частыя поминанія о своемъ „убогомъ дарѣ“ и о неравной борьбѣ между разсудочностью и творчествомъ едва ли могутъ быть отнесены къ отличительнымъ чертамъ Моцарта.

Въ одномъ мѣстѣ:

„А я, владѣющій убогимъ дарованьемъ,
Но рвеніемъ горя полезнымъ быть и имъ,
Я правды красоту даю стихамъ моимъ,
Желаю доказать людскихъ суетъ ничтожность
И хладной мудрости высокую возможность".
(Богдановичу).

Въ другомъ:

„Но рвенью моему что будетъ воздаяньемъ?
Не слава-ль громкая? я бѣденъ дарованьемъ".
(Гнѣдичу).

И еще:

„Мой даръ убогъ и голосъ мой не громокъ!"

А развѣ не характерно, напримѣръ, начало стихотворенія „Недоносокъ"?

„Я изъ племени духовъ,
Но не житель Эмпирея,
И едва до облаковъ
Возлетѣвъ, паду слабѣя.
Какъ мнѣ быть? я малъ и плохъ;
Знаю—рай за ихъ волнами;
И ношусь, крылатый вздохъ,
Межъ землей и небесами!"

Почти то же, лишь въ другой формѣ, повторяется въ стихотвореніи „Риѳма":

„Самъ судія и подсудимый,
Скажи: твой безпокойный жаръ—
Смѣшной недугъ иль высшій даръ?
Рѣши вопросъ неразрѣшимый"!

Самый процессъ писанія стоилъ Боратынскому мучительнаго труда и огромной подготовки, и въ одномъ изъ писемъ къ Путятѣ онъ съ гордостью признается, что въ его послѣдней поэмѣ „Налож-

ница“ (Цыганка) „почти незамѣтенъ трудъ“. В. В. Розановъ ехидно замѣчаетъ, что въ этомъ-то и есть главная трагедія Боратынскаго — Сальери: „Сальери—глубокъ, но Сальери только не даровитъ тѣмъ особеннымъ и, дѣйствительно, почти случайнымъ даромъ, который Богъ вѣсть откуда приноситъ на землю „райскія видѣнья“, который творцу ничего не стоитъ, дается ему даромъ и совершенно затмеваетъ глубокіе и трудные дары, какими обладаетъ иной разъ душа возвышенная и только лишенная этого спеціальнаго дара. Тутъ—несправедливость, тутъ дѣйствительная и роковая несправедливость“...

. . . . . О, небо
Гдѣ-жъ правота, когда священный даръ,
Когда безсмертный геній не въ награду
Любви горящей, самоотверженья,
Трудовъ, усердія, моленій посланъ—
А озаряетъ голову безумца,
Гуляки празднаго?...

И эта ревнивая „Сальеревская“ точка зрѣнія на Пушкина, какъ на „гуляку празднаго“ довольно прозрачно подчеркивается у Боратынскаго; напримѣръ:

„Ты, Пушкинъ нашъ, кому дано
Пѣть и героевъ, и вино,
И страсти молодости пылкой,
Дано съ прокавливымъ умомъ
Быть сердца вѣрнымъ знатокомъ
И лучшимъ гостемъ за бутылкой!“
(„Пиры“).

Или вотъ:

„Такъ Пушкинъ молодой, сей вѣтренникъ блестящій,
Все подъ перомъ своимъ шутя животворящій“...

Весьма можетъ статься, что это полуревнивое воззрѣніе, волей-неволей, поддерживали литературные сочувственники Е. А. и тѣмъ паче собственная жена Боратынскаго, благоговѣвшая передъ мужемъ и видѣвшая въ немъ всѣ совершенства. По крайней мѣрѣ, въ коротенькой статейкѣ кн. П. А. Вяземскаго, посвященной посмертному изданію соч. Е. А., безъ обиняковъ подчеркивается обидное давленіе Пушкина, благодаря которому Боратынскій не пользовался уваженіемъ, достойнымъ его дарованія: „Его заслонялъ собою и, такъ сказать, давилъ Пушкинъ, хотя они и были пріятелями, и послѣдній высоко цѣнилъ дарованіе его... Мы прочищаемъ дорогу кумиру своему, несемъ его на плечахъ, а другихъ и знать не хотимъ, а если и знаемъ, то развѣ для того, чтобы сбивать ихъ съ ногъ справа и слѣва и давать кумиру идти, попирая ихъ ногами... Но кумиры у насъ недолговѣчны, позолота съ нихъ скоро сходитъ“. Подъ чьимъ собственно давленіемъ написана подобная замѣтка, намъ, къ сожалѣнію, остается неизвѣстно!.. *).

Бѣдный Пушкинъ! Бѣдный гуляка праздный!!

Странно, однако, одно обстоятельство: какимъ образомъ этотъ „гуляка праздный“, вѣчно бившійся въ тискахъ нужды, въ какихъ-нибудь два осеннихъ мѣсяца въ с. Болдинѣ написалъ втрое больше, чѣмъ трудолюбивый Боратынскій за цѣлую четверть своего обезпеченнаго вѣка?!. А ужъ Бора-

*) Странно, почему кн. Вяземскій не упоминаетъ, за одно, о другой незадачѣ, постигшей Боратынскаго послѣ смерти Пушкина: о появленіи на горизонтѣ... Лермонтова, котораго Боратынскому также суждено было пережить!..

тынскій ли не оберегалъ себя тщательно отъ всякихъ лишнихъ волненій, могущихъ нарушить его житейскій покой. Вотъ, напримѣръ, любопытныя строки двадцатилѣтняго Боратынскаго къ Путятѣ, характеризующія, какъ нельзя болѣе, благоразуміе его поведенія: „Прощай, милый Путята, до досуга, до здраваго смысла, и, наконецъ, до свиданья! Спѣшу къ ней. Ты будешь подозрѣвать, что я нѣсколько увлеченъ: нѣсколько—правда; но я надѣюсь, что первые часы уединенья возвратятъ мнѣ разсудокъ. Напишу нѣсколько элегій и засну спокойно. Поэзія—чудесный талисманъ: очаровывая сама, она обезсиливаетъ чужія вредныя чары. Прощай! обнимаю тебя!“

Увы, Пушкинъ далеко не умѣлъ такъ удобно отдѣлываться отъ своихъ увлеченій и, какъ извѣстно, за свое самое серьезное увлеченіе поплатился даже жизнью!..

Въ другомъ товарищескомъ признаніи, въ стихотвореніи „Товарищамъ“, Боратынскій совершенно откровенно признается:

„Весельчакамъ я заперь дверь,
Я просыщенъ ихъ буйнымъ счастьемъ
И замѣнилъ его теперь
Пристойнымъ, тихимъ сладострастьемъ“...

Словомъ, не грызи подчасъ Е. А. тайный демонъ тщеславія, онъ жилъ бы да поживалъ въ своей благословенной Мурановкѣ самымъ счастливѣйшимъ изъ смертныхъ. Но еще въ бытность Боратынскаго въ Пажескомъ корпусѣ этотъ демонъ испортилъ все дѣло. По собственному признанію Е. А. (въ письмѣ къ Жуковскому), въ темной

школьной исторіи, въ которой онъ участвовалъ и за которую поплатился исключеніемъ изъ корпуса и опредѣленіемъ въ рядовые, онъ игралъ роль атамана, соблазнившись славой шиллеровскаго Карла Моора. Впрочемъ, „солдатство“ Боратынскаго въ дѣйствительности не представляло ничего особенно трагическаго и имѣло весьма мало общаго съ солдатствомъ Одоевскаго, ссылкой Достоевскаго и даже изгнаніемъ Пушкина въ село Михайловское: онъ жилъ на квартирѣ у своего командира полка, добродушнѣйшаго человѣка, гостилъ въ Гельсингфорсѣ у своего пріятеля Путяты, наѣзжалъ отъ времени до времени въ Петербургъ и Москву, волочился, слегка покучивалъ и т. п. Это, однако, не помѣшало ему написать стихотвореніе „Могила“, вообразить себя въ романтическомъ положеніи Пушкинскаго „Кавказскаго Плѣнника“ и начать, въ подражаніе послѣднему, „Эду“, а свое кадетское приключеніе считать „вѣчной, не заживающей раной“... Конечно, въ началѣ служебная карьера Боратынскаго была испорчена, но ему ли, спрашивается, поэту по призванію и вполнѣ обезпеченному человѣку, пристало особенно скорбѣть объ этомъ? А онъ, повидимому, скорбѣлъ и однажды горько жаловался своему сосѣду по имѣнію Петру Кичѣеву, что благодаря помянутой исторіи карьера его испорчена, и онъ „всего на всего—губернскій секретарь!“ — Богъ вѣсть, можетъ, онъ даже завидовалъ злополучному камергерскому мундиру Пушкина...

Такъ или иначе, но въ разгаръ Пушкинской славы Боратынскій держится вдали отъ свѣта и, лишь по смерти Пушкина, снова появляется въ Пе-

тербургѣ и усиленно посѣщаетъ свѣтскіе и литературные кружки. Вдали держится онъ, повидимому, и отъ тѣхъ денежныхъ товарищескихъ одолженій, въ интимную исторію которыхъ неизбѣжно вплетены имена всѣхъ ближнихъ друзей Пушкина—Жуковскаго, Вяземскаго, Дельвига, Плетнева, Нащокина, Соболевскаго — по крайней мѣрѣ, имя Боратынскаго въ этомъ оффиціозномъ дружескомъ спискѣ не замѣшано. Увы, судя по двумъ-тремъ обмолвкамъ А. П. Плетнева и кн. Вяземскаго (письмо къ издателю, помощь Гоголю), надо полагать что въ денежномъ отношеніи авторъ „Пировъ“ и „Наложницы“ былъ человѣкъ довольно прижимистый. Эту частную непоэтическую черту Боратынскаго можно было бы удобно миновать, если бы невольно не приходило на умъ, что въ то самое время, когда Пушкинъ почти сознательно готовился къ смерти, не видя иного исхода, или, говоря иными словами, не находя матеріальной поддержки, чтобы бѣжать изъ Петербурга—его т. н., „другъ“ благодушествовалъ въ своей Подмосковной, всецѣло преданный хозяйственнымъ разсчетамъ и архитектурнымъ фантазіямъ. Все это, разумѣется, довольно обычная житейская исторія, которая, однако, въ настоящемъ случаѣ довольно плохо вяжется съ понятіемъ о словѣ „другъ“!..

Вообще, нельзя не отмѣтить при сравненіи судьбы двухъ поэтовъ рѣзкой иронической линіи, ее пересѣкающей... С. А. Андреевскій въ своемъ изящномъ этюдѣ о поэзіи Боратынскаго очень тонко подчеркиваетъ „трагическую организацію“ поэта. И развѣ это не иронія, въ самомъ дѣлѣ? Съ одной стороны, „трагическая организа-

ція“ и счастливая судьба... Съ другой — у Пушкина—счастливая организація и... трагическая судьба! Всмотритесь хорошенько во внѣшнюю жизнь Боратынскаго, и вы увидите, что онъ имѣлъ почти все, о чемъ всю жизнь страстно мечталъ Пушкинъ.—Пушкинъ, какъ и всякій простой смертный писатель, мечталъ имѣть самоотверженно преданную жену и жить мирной и уединенной сельской жизнью...

„Давно завидная мечтается мнѣ доля,
Давно, усталый рабъ, замыслилъ я побѣгъ
Въ обитель дальную трудовъ и чистыхъ нѣгъ“.
(Къ женѣ).

Все это Боратынскій имѣлъ съ избыткомъ... Пушкинъ ли не мечталъ до отчаянія — сбросить свое камергерское иго и, хотя какъ нибудь, обезпечить помимо службы себя и свою семью?—И то, и другое Боратынскому досталось легко и просто. Наконецъ, верхъ мечтанья Пушкина было—побывать заграницею.—Боратынскому это счастье улыбнулось широко. Въ 1843 г. онъ предпринимаетъ продолжительное путешествіе по Германіи, Франціи и Италіи, и знакомится въ Парижѣ съ Сенъ-Бевомъ, Гизо, Тьерри, Альфредомъ де-Виньи, Жоржъ-Зандъ и Ламартиномъ... Бѣдный Пушкинъ! Трудно даже помыслить, до какихъ бы высотъ достигъ его геній, побывай поэтъ хотя бы на половину въ условіяхъ своего друга.

Надо полагать, что эти условія были очень недурны, если даже, несмотря на свою „трагическую организацію“, Боратынскій пишетъ Путятѣ изъ Москвы: „Я теперь постоянный московскій житель.

Живу тихо, мирно, счастливъ моею семейною жизнью". Затѣмъ изъ Подмосковной онъ пишетъ И. В. Кирѣевскому: „Скажу тебѣ вкратцѣ, что мы пьемъ чай, обѣдаемъ, ужинаемъ часомъ раньше, нежели въ Москвѣ. Вотъ тебѣ рама нашего существованія. Вставь въ нее прогулки, верховую ѣзду, разговоры; вставь въ нее то, чему нѣтъ имени: это общее чувство, этотъ итогъ всѣхъ нашихъ впечатлѣній, который заставляетъ проснуться весело, гулять весело, эту благодать семейнаго счастья, и ты получишь довольно вѣрное понятіе о моемъ бытьѣ". И, наконецъ, изъ Неаполя онъ сообщаетъ своему брату: „Сладко проходитъ здѣсь жизнь наша"...

Чего же, спрашивается, не доставало этому баловню фортуны для полнаго счастья?..

Гмъ, сущаго пустяка... генія Пушкина!! [„Все это служитъ пищею генію, но вотъ бѣда: я не геній!"].

Послѣ всего вышесказаннаго мнѣ остается добавить очень немного по адресу моего оппонента изъ „Русскаго Архива", скрывшагося подъ маскою „В. Б.".

Общій тонъ статьи производитъ крайне пріятное впечатлѣніе своей литературной чистоплотностью, но зато ея содержаніе отличается досадной поверхностностью и, мѣстами, почти ученической наивностью.

Началу статьи „В. Б." предпосылаетъ довольно парадоксальный афоризмъ: „критика для критики", т.е. иными словами, намекаетъ, что только присяжные

критики имѣютъ законное право заниматься тѣми или иными литературными явленіями. Мнѣ, однако, думается, что если бы „В. Б.“ вооружился терпѣніемъ одолѣть увѣсистый томъ „Исторіи литературы“ А. М. Скабичевскаго—онъ бы нѣсколько измѣнилъ свое суровое мнѣніе и отнесся снисходительнѣе къ правамъ гг. беллетристовъ—господъ, стоящихъ по существу своему довольно-таки близко къ самому источнику художественнаго творчества. Но „В. Б.“ художественной чуткости отводитъ, повидимому, послѣднее мѣсто, а ставитъ на первое чисто формальныя соображенія, вродѣ, напримѣръ, обвиненія меня въ черезчуръ свободной выборкѣ цитатъ. Странное, въ самомъ дѣлѣ, обвиненіе! Во-первыхъ, никакая статья безъ ущерба для своей сущности не можетъ быть испещрена выпиской текста матеріаловъ цѣликомъ; а, во-вторыхъ, полагаемъ—нѣтъ ничего въ томъ предосудительнаго, если, трактуя о „сальеревскихъ“ чертахъ Боратынскаго, я подчеркивалъ для себя въ текстѣ именно эти черты, а не другія.

Между тѣмъ, на слѣдующей же страницѣ защитникъ Боратынскаго, нимало того не замѣчая, самъ подчеркиваетъ эту сальеревскую черту, обращая усиленное вниманіе на извѣстное стихотвореніе Боратынскаго „А. Н. М....“

„Не бойся ѣдкихъ осужденій,
Но упоительныхъ похвалъ:
Не разъ въ чаду ихъ мощный геній
Сномъ разслабленья засыпалъ
Когда, довѣрясь ихъ измѣнѣ,
Уже готовъ у моды ты
Взять на вѣнокъ своей Каменѣ

Ея тафтяныя цвѣты,
Прости, я громко негодую!
Прости наставникъ и пророкъ,
Я съ укоризной указую
Тебѣ на лавровый вѣнокъ.
Когда по ребрамъ крѣпко стиснутъ
Пегасъ удалымъ сѣдокомъ,
Не горе, ежели прихлыснутъ
Его критическимъ хлыстомъ!"

И внизу этого „облачнаго" стихотворенія услужливо разъясняетъ, что иниціалы А. Н. М. слѣдуетъ читать *А. С. П.*, и что оно посвящено авторомъ „лишь для отвода глазъ" юному Андрею Николаевичу Муравьеву, а въ сущности направлено противъ Пушкина. По толкованію „В. Б.", во второй строфѣ намекается весьма прозрачно на угодничество Пушкина передъ толпой, передъ модой, а „тафтяные цвѣты", это, надо полагать: „Евгеній Онѣгинъ", „Борисъ Годуновъ" и „Царь Салтанъ". (Стихотвореніе это написано въ 1827 г., т. е. за три года до появленія „Моцарта и Сальери". И, конечно, мудрено предположить, чтобы такой недвусмысленный „отводъ глазъ" не бросился въ глаза такому прозорливцу, какъ Пушкинъ!).

Явно недружелюбному тону, чувствуемому въ нѣкоторыхъ прозаическихъ и поэтическихъ строкахъ Боратынскаго, относящихся „ко второму періоду" отношеній между двумя поэтами, защитникъ Боратынскаго даетъ довольно-таки претенціозное объясненіе: „Пушкинъ, видите ли, не оправдалъ высокихъ надеждъ Боратынскаго и, несмотря на свой геній, оказался ниже своей задачи, не далъ образчика „истинно народной поэзіи (?)" и т. п. Кстати же, какъ авторитетное подтвержденіе озна-

ченнаго взгляда, бокъ-о-бокъ приводится характерная обмолвка Хомякова, въ письмѣ къ И. С. Аксакову, о душѣ Пушкина „якобы слишкомъ непостоянной и слабой, слишкомъ рано развращенной и уже никогда не находившей себѣ силъ для возрожденія“.

Охъ, ужъ эти смиренномудренныя московскія души, благополучно процвѣтающія въ своихъ сытыхъ наслѣдственныхъ углахъ, щедро болтливыя по части духовныхъ наставленій и загадочно молчаливыя въ минуты вашей житейской безвыходности! Впрочемъ, развѣ не та же исторія повторяется въ основѣ безвременной погибели Гоголя: „ѣдкихъ осужденій“ кругомъ хоть отбавляй—и ни откуда настоящей, истинно-христіанской помощи...

Богъ съ ними!!

Далѣе защитникъ Боратынскаго утверждаетъ что если бы Боратынскій завидовалъ успѣху Пушкина, „онъ бы попытался вступить съ нимъ въ соперничество и писалъ бы, какъ и онъ, драмы, романы“...

А ужъ будто бы онъ и не пытался?

Однако, изъ писемъ Боратынскаго къ Кирѣевскому мы знаемъ, что въ 1831 году онъ написалъ какую-то драму, предназначенную для новорожденнаго „Европейца“, но попытка, повидимому, не особенно удалась, потому что онъ усердно просилъ Кирѣевскаго „напечатать ее безъ имени и никому ее не читать, какъ его сочиненіе“ (къ прискорбію, „Европеецъ“ Кирѣевскаго прекратился на второй книгѣ, и драма Боратынскаго такъ и не увидѣла свѣта).

Къ роману, правда, Боратынскій едва только

приступилъ („началъ писать мой романъ, но дѣло идетъ мѣшкотно“), но за то въ своихъ поэмахъ, начиная съ „Эды“, не стѣсняясь подражалъ Пушкину.

Добродушный Плетневъ въ своемъ разборѣ произведеній Боратынскаго добродушно восклицаетъ: „Кто бы, напримѣръ, рѣшился подражать сценѣ Татьяны съ няней въ „Евгеніи Онѣгинѣ“—этому перлу граціи и простоты? А Боратынскій рѣшился“. и т. п.

И не къ чести Боратынскаго, добавимъ мы.

Далѣе, также не въ особенную заслугу Боратынскаго, „В. Б.“ оговаривается, что „Пушкинъ былъ въ душѣ литераторъ, какъ и самъ въ этомъ сознается—и именно этой черты въ Боратынскомъ не было“.

Что же изъ этого слѣдуетъ?

По мнѣнію „В. Б.“, изъ этого слѣдуетъ, что Боратынскій „не нуждался въ похвалахъ, находя себѣ награду не только въ звукахъ, но и въ мечтахъ“. Опять такъ ли это? Зачѣмъ тогда было печатать предлиннѣйшее предисловіе къ такой посредственной поэмѣ своей какъ „Цыганка“, и ссылаться на примѣръ Пушкина. Явно подражательную поэму „Балъ“ онъ опять не стѣсняется издавать совмѣстно съ Пушкинской поэмой. А въ одномъ письмѣ своемъ къ Кирѣевскому изъ Казани сообщаетъ достаточно самоувѣреннымъ тономъ: „Многіе имѣютъ здѣсь мои труды и Пушкина, но переписные, а не печатные!“. (Нѣтъ ничего удивительнаго, что именно этотъ тонъ оттолкнулъ извѣстнаго Панаева, по его собственному признанію, отъ тѣснаго сближенія съ Боратынскимъ). Это—„я и

Пушкинъ“ довольно-таки прозрачно проскальзываетъ во многихъ мѣстахъ...

„Онъ же геній, какъ ты да я!“
(„Моцартъ и Сальери“).

А заключеніе таинственнаго „В. Б.“ уже совершенно наивно: „Наконецъ, самое понятіе о зависти какъ-то неумѣстно, когда рѣчь идетъ о двухъ истинныхъ поэтахъ. Какъ можно завидовать чужому произведенію или чужому дарованію? Можно ли серьезно завидовать звѣздамъ?“

Не лучше ли тогда поставить вопросъ проще и прямѣе: Можно ли, помилуй Богъ, брать такіе противоестественные сюжеты, какъ Моцартъ и Сальери! Ахъ, Пушкинъ, Пушкинъ!!

Если, по мнѣнію защитника Боратынскаго, я сдѣлалъ въ этомъ отношеніи догадку черезчуръ нескромную, то самъ „В. Б.“ (въ связи съ родственнымъ примѣчаніемъ къ стихотворенію „А. Н. М.“) дѣлаетъ догадку прямо жестокую для Боратынскаго по своему обличительному правдоподобію. „В. Б.“ приводитъ одну изъ послѣднихъ строфъ стихотворенія Боратынскаго „Осень“.

„Вотъ буйственно несется ураганъ,
И лѣсъ подъемлетъ говоръ шумный,
И пѣнится, и ходитъ океанъ,
И въ берегъ бьетъ волной безумной:
Такъ иногда толпы лѣнивый умъ
Изъ усыпленія выводитъ
Гласъ, *пошлый* гласъ, вѣщатель *общихъ думъ*,
И звучный отзывъ въ ней находитъ;
Но не найдетъ отзыва тотъ глаголъ
Что страстное земное перешелъ“.

И затѣмъ весьма обстоятельно поясняетъ, что

„подъ глаголомъ, что перешелъ страстное земное“ Боратынскій разумѣлъ самого себя, а выраженія „вѣщатель общихъ думъ“ и „пошлый гласъ“ относится непосредственно къ Пушкину.

Другими словами: *когда Боратынскій дописывалъ эти „облачныя строфы“, направленныя противъ Пушкина, какъ разъ ему пришло извѣстіе... о смерти Пушкина...* Это положительно что-то мистическое—точно невидимая рука Провидѣнія, налагающая свою карающую печать на людскую зависть и несправедливость!.. Нѣтъ ничего мудренаго, что авторъ означенныхъ строфъ прервалъ работу, пораженный роковымъ совпаденіемъ и онѣ такъ и остались, къ сокрушенію супруги поэта, недодѣланными.

Было бы, конечно, лучше, если бы онѣ остались вовсе ненаписанными.

Въ чемъ же спрашивается заключается, въ концѣ концовъ, собственно моя преступность?

Единственно въ томъ, что явныя страданія великаго Пушкина завѣдомо дороже для меня сомнительныхъ претензій даровитаго Боратынскаго!..

Что дѣлать, у каждаго истинно русскаго есть неизбѣжно свои завѣтныя симпатіи, съ которыми приходится, волей-неволей, считаться!!

С.-Петербургъ,
19 октября 1900 г.

ГОДЪ СПУСТЯ.

(По поводу Пушкинскихъ уголковъ).

Недавніе Суворовскіе дни невольно оживляютъ въ памяти майскія торжества въ честь Пушкина. Дѣятельность Пушкина тоже своего рода Суворовскій подвигъ: подъ его началомъ русская словесность перешла, такъ сказать „Аппенины общественнаго равнодушія“, и роковой, настоящій „Чортовъ мостъ“, разъединявшій интеллигенцію съ народомъ, внезапно утратилъ свое погибельное значеніе.—„Языкъ Пушкина, этотъ волшебный языкъ—единственный мостъ, соединяющій народную рѣчь съ рѣчью нашей литературы“,—замѣчаетъ извѣстный народолюбецъ С. А. Рачинскій въ своей извѣстной народолюбивой книгѣ „Сельская Школа“:—„Его творчество, это—всемогущій талисманъ, сразу раздвигающій вокругъ всякаго грамотнаго тѣсный предѣлъ времени и пространства, въ которыхъ до тѣхъ поръ вращалась его мысль“... И нельзя, конечно, не согласиться въ этомъ случаѣ съ проникновеннымъ словомъ Достоевскаго — что, проживи Пушкинъ дольше, онъ оставилъ бы намъ такія художественныя сокровища, которыя воздѣйствіемъ своимъ навѣрное бы сократили времена и сроки... этого „сліянія“!..

Наше дѣло теперь — возможно выше, виднѣе

укрѣпить это побѣдное Пушкинское знамя и, слѣдовательно, укрѣпить также все, до самыхъ мелочей, что относится къ памяти Пушкина... начиная, конечно съ его могилы, которая во время прошлогоднихъ майскихъ торжествъ была обезображена огромнымъ деревяннымъ помостомъ, значительно, какъ говорятъ свѣдущіе люди, попортившимъ и Святую Гору, гдѣ находится могила поэта, и самый могильный склепъ.

Нравственное впечатлѣніе Пушкинскаго торжества, въ особенности по своему вліянію на народныя массы, нѣтъ спору, вышло огромное; но въ чисто практическомъ отношеніи дѣло обстоитъ въ прежнемъ такъ сказать, будничномъ видѣ. Въ этомъ смыслѣ юбилейные чествователи до нѣкоторой степени напоминаютъ извѣстныхъ Гоголевскихъ крысъ, приснившихся Городничему: „пришли, понюхали и пошли прочь". Или—вѣрнѣе говоря—пришли, выпили и пошли прочь... выпили, какъ говорятъ свѣдущіе люди, въ одномъ монастырѣ на семьсотъ рублей, и бѣдный Святогорскій монастырь до сихъ поръ кряхтитъ вмѣстѣ со своимъ юбилейнымъ деревяннымъ помостомъ, тоже ставшимъ монастырской казнѣ въ немалую копѣйку. Хлопотъ въ знаменательные майскіе дни было не обобраться, и, принеся достаточно жертвъ ради великаго человѣка, прахъ котораго покоится въ оградѣ монастыря, самъ монастырь не получилъ на свою долю ровно никакихъ жертвъ со стороны просвѣщенной части русскаго общества... даже свѣчной сборъ оказался значительно меньшимъ въ Пушкинскіе дни, чѣмъ въ обычные праздничные дни, при скопленіи сѣраго люда.

Теперь, когда майскій шумъ давно угомонился, нелишнее, думается, остановиться на прозаической сторонѣ дѣла, невольно выдвинутой означенными поэтическими днями...

По свѣдѣніямъ, проникшимъ въ газеты, Пушкинскій капиталъ, собранный Псковскимъ комитетомъ, достигаетъ нынѣ „ста тысячъ рублей"... Будутъ ли укрѣплять гору—неизвѣстно: но извѣстно, что десять тысячъ изъ упомянутаго фонда предназначены на устройство стеклянной часовни надъ могильнымъ памятникомъ поэта. Не входя въ техническія подробности, въ которыхъ я совершенный профанъ, остановлюсь на сторонѣ чисто поэтической, которая, смѣю полагать, играла не послѣднюю роль въ печальныхъ думахъ поэта, когда онъ выбиралъ себѣ мѣсто своего успокоенія...

„И пусть у гробового входа
Младая будетъ жизнь играть,
И равнодушная природа
Красою вѣчною сіять"...

Хорошо ли, спрашивается, если этотъ гробовой входъ, т. е. небольшой, старинный, характерный памятникъ, будетъ загроможденъ огромной, хотя бы и стеклянной часовней... Нѣтъ словъ, стеклянная часовня очень красивая вещь, и въ обширномъ московскомъ Новодѣвичьемъ монастырѣ стеклянная часовня, окружающая памятникъ поэта Плещеева, какъ нельзя болѣе у мѣста. Но грандіозная часовня... буквально въ двухъ шагахъ отъ небольшого храма, составляющаго центръ Святой Горы,—не нарушитъ ли это, господа, нынѣшнюю поэзію и гармонію этого священнѣйшаго Пушкинскаго уголка? Это вопросъ первостепенной важности, и

я былъ бы счастливъ, если бы на мой запоздалый откликъ отозвались своевременно искренніе ревнители памяти поэта!

Пока обращаюсь къ другимъ Пушкинскимъ уголкамъ — Михайловскому и Тригорскому... По тѣмъ же свѣдѣніямъ, проникшимъ въ газеты, судьба знаменитаго Пушкинскаго домика въ селѣ Михайловскомъ еще не рѣшена и, какъ имъ распорядится Псковское дворянство, еще неизвѣстно. Но мысль В. С. Кривенко, высказанная на страницахъ „Новаго Времени"—сдѣлать изъ Пушкинскаго домика въ селѣ Михайловскомъ нѣчто вродѣ домика Гете въ Веймарѣ, реставрировавъ по стариннымъ рисункамъ обстановку того времени, заслуживаетъ предпочтительнѣйшаго вниманія („Н. В." 30 Іюня 1899 г.). Тутъ же, по близости, для паломниковъ Пушкинскихъ уголковъ слѣдовало бы соорудить скромную гостиницу, которая въ то же время оказалась бы прекрасной лѣтней санаторіей для гг. переутомленныхъ литераторовъ. Излишне говорить, что давно слѣдовало бы поставить на площадкѣ, передъ домомъ, бюстъ поэта!..

Въ самомъ дѣлѣ, трудно представить себѣ болѣе эстетическую и вмѣстѣ гигіеническую экскурсію, чѣмъ паломничество въ Святыя Горы. Несомнѣнно, когда для таковыхъ паломниковъ будетъ устроенъ благоприличный пріютъ, число ихъ будетъ, надо думать, возрастать изъ года въ годъ. Близость Петербурга, превосходное въ полномъ смыслѣ шоссе, по которому идетъ путь отъ станціи Островъ (Варшавской желѣзной дороги) до самыхъ Святыхъ Горъ, живописныя окрестности Тоболенца, Михайловскаго и Тригорскаго, все это ставитъ паломниковъ въ исключительно счастливыя условія.

Въ исключительныя условія былъ поставленъ и вашъ покорный слуга, проживший добрую недѣлю въ покояхъ отсутствовавшаго настоятеля монастыря и довольствовавшійся скромнымъ постнымъ монастырскимъ столомъ. Но надо думать также, что далеко не всякій поклонникъ Пушкина согласится обречь себя посту и молитвѣ ради посѣщенія Пушкинскихъ уголковъ, да и далеко не всякому бѣдный Святогорскій монастырь можетъ открыть свои двери... Словомъ, такъ или иначе, но вопросъ о свѣтскомъ пріютѣ для гг. паломниковъ долженъ стоять на первой очереди и учрежденіе таковаго псковскому дворянству слѣдовало бы причислить, по всей справедливости, къ лику „просвѣтительныхъ учрежденій", на устройство коихъ въ общемъ, въ Псковѣ и Святыхъ Горахъ ассигновано изъ Пушкинскаго фонда до сорока тысячъ—ибо въ чемъ же, спрашивается, выражается истинная просвѣтительность, какъ не въ томъ, чтобы всѣми средствами способствовать укрѣпленію уваженія въ общественной памяти великаго человѣка родной земли? Къ этому просвѣтительному разряду я отношу высказанную уже однажды мною мысль объ учрежденіи Пушкинскаго музея по примѣру нынѣшняго Суворовскаго!.. Но если таковой грандіозный музей относится къ области отдаленныхъ мечтаній (судя по недавнимъ Пушкинскимъ выставкамъ въ Москвѣ и Петербургѣ, какой бы это могъ выйти интересный и удивительный музей!), тѣмъ болѣе, что въ Петербургѣ уже есть свой небольшой Пушкинскій музей при Императорскомъ Александровскомъ лицеѣ на Каменноостровскомъ просп.,—то отчего бы не основать одновременно таковой же музей въ г. Псковѣ, при мѣстномъ

археологическомъ музеѣ. Послѣдняя мысль пришла мнѣ невольно при посѣщеніи домика въ Тригорскомъ, принадлежащаго нынѣ баронессѣ Вревской. Въ его комнатахъ цѣлый маленькій Пушкинскій музей, начиная съ письменнаго столика, за которымъ работалъ Пушкинъ, кареты, въ которой онъ ѣздилъ, до различныхъ старинныхъ вещей, окружавшихъ его бытность въ Тригорскомъ. (Отчего бы, кстати сказать, псковскому комитету не позаботиться о наиболѣе популярныхъ Пушкинскихъ мѣстахъ: поправить, напримѣръ, разваливающуюся пуню гдѣ пиршествовалъ Пушкинъ съ Языковымъ и Вульфомъ, соорудить скромный обелискъ на любимомъ мѣстѣ поэта, на берегу р. Сороти, подсадить погибшія знаменитыя три сосны, и т. д.).

Въ Михайловскомъ, несмотря на полное опустошеніе, тоже уцѣлѣло кое-что, а именно: доска знаменитаго Пушкинскаго билліарда и старинная долгушка, на которой везли тѣло поэта со станціи Островъ до Святогорскаго монастыря. Наконецъ, въ изслѣдованіи псковскаго археолога В. В. Василева „Слѣды пребыванія А. С. Пушкина въ Псковской губерніи“ перечислены Пушкинскіе автографы, вещи и картины, связанные съ именемъ Пушкина, находящіеся въ Псковской губерніи.

Куда все это, желалъ бы я знать, дѣнется по смерти ихъ владѣльцевъ? Наконецъ, деревянныя помѣщенія, хранящія всѣ эти драгоцѣнности, могутъ сгорѣть и выйдетъ, по русской пословицѣ, „что́ имѣемъ, не хранимъ, потерявши—плачемъ“. Или быть можетъ, псковское дворянство постѣснится причислить Пушкинскій музей къ учрежденіямъ „просвѣтительнымъ“ и предпочтетъ лишнюю школу—

странная, однако, выйдетъ школа, воспитывающая ученика въ уваженіи къ Пушкину... съ тѣмъ, чтобы ученикъ, по выходѣ изъ нея, убѣдился на дѣлѣ, что все, относящееся къ памяти Пушкина, находится въ явномъ пренебреженіи. Почитать поэта—значитъ пропагандировать всячески его имя, чего едва ли можно съ успѣхомъ достигнуть, учреждая школу пивоваренія или больницу для больныхъ ракомъ. Но оставимъ пока псковскую интеллигенцію и остановимся на „петербургской". Навѣстимъ, мимоходомъ „петербургскіе Пушкинскіе уголки" и посмотримъ, какъ отразились на нихъ недавнія Пушкинскія торжества...

Первымъ дѣломъ я, разумѣется, направился на Мойку, къ Пѣвческому мосту, въ домъ № 12, кн. Волконскаго, гдѣ скончался Пушкинъ. Угольное окно, по лѣвую руку отъ воротъ, есть то самое историческое окно, около котораго въ памятное утро 29-го января 1837 г. тѣснилась пораженная горемъ толпа. На стѣнѣ прибита доска съ соотвѣтствующею надписью и... больше ничего!.. Въ простотѣ сердечной я про себя подумалъ, что послѣ Пушкинскихъ торжествъ самая комната, гдѣ скончался великій поэтъ, приведена въ подобающій для сего знаменательнаго мѣста видъ. Боже мой, какое жесточайшее разочарованіе!.. Эта самая комната, слышавшая послѣдній вздохъ Пушкина и увѣковѣченная трогательной поэмой—письмомъ Жуковскаго, вдохновенно описавшаго послѣднія минуты поэта... обращена нынѣ, какъ вы думаете, во что? Въ канцелярію контроля Николаевской желѣзной дороги!.. Канцелярскіе письменные столы, на столахъ—папки съ отношеніями и рапортами, счетами и т. п. Сторожъ въ

блузѣ и зеленой фуражкѣ, сопровождавшій меня въ комнату, ткнулъ мнѣ пальцемъ въ стѣну, гдѣ развѣшано какое-то желѣзнодорожное росписаніе и обязательно пояснилъ: „Здѣся стояла евонная койка“. Г-жа петербургская дума, г-жа петербургская интеллигенція... какъ вамъ не стыдно??..

Какъ разъ около самыхъ воротъ, когда я разыскивалъ дворника (внизу подъ „Пушкинскимъ окномъ“ помѣщается велосипедная мастерская), примазался ко мнѣ какой-то совершенно невѣдомый длинноногій и шершавый нѣмецъ въ синихъ очкахъ, тоже пожелавшій „обсмотрѣть мѣсто, гдѣ кончалъ Пушкинъ“. И еслибы вы только видѣли, какъ онъ былъ искренно возмущенъ, найдя, вмѣсто бережно охраняемой святыни, пыльное канцелярское капище... Онъ объяснилъ мнѣ, злорадно шипя, „что у нихъ, у нѣмцевъ, въ Веймаръ комната, гдѣ кончалъ Гете, все хранилъ, какъ буль, даже на столъ, возлѣ постель, Гете стоитъ бутиль съ медикаментъ и рецептуръ“. Я молчалъ, поникнувъ головой.....

Не лучше обстоитъ дѣло и съ мѣстомъ дуэли Пушкина. Единственный прогрессъ заключается въ томъ, что на мѣстѣ, гдѣ палъ поэтъ отъ смертоносной пули, воздвигнутъ недавно — т.-е. спустя 60 лѣтъ, слишкомъ — скромный памятникъ съ бюстомъ поэта. (Когда подумаешь при этомъ, что въ Кіевѣ на томъ мѣстѣ, гдѣ упалъ съ лошади, при объѣздѣ войскъ, генералъ-адъютантъ Дрентельнъ, почти въ тотъ же годъ воздвигся богатый памятникъ!). Но такъ какъ означенный бюстъ воздвигнутъ въ оградѣ „Коломяжскихъ скачекъ“, какъ разъ при въѣздѣ, такъ сказать, при самомъ источ-

никѣ спортивнаго бѣснованія, то нѣтъ ничего мудренаго, еслибъ кто изъ современной невѣжественной интеллигенціи принялъ означенное изваяніе за аллегорическое изображеніе какого либо тотализаторскаго героя. По всей справедливости, это историческое мѣсто слѣдовало бы оградить настоящей китайской стѣной отъ тотализаторской суеты, а на мѣстѣ посредственнаго памятника воздвигнуть грандіозную часовню имени святого, которое носилъ Пушкинъ — здѣсь она была бы особенно кстати! Что же касается комнаты, гдѣ скончался поэтъ, то слѣдовало бы ее реставрировать по возможности въ томъ видѣ, какой она имѣла въ день смерти поэта, а на стѣнѣ, гдѣ виситъ нынѣ желѣзнодорожная карта, повѣсить картину, изображающую послѣднія минуты Пушкина, воспользовавшись для этого, напримѣръ, услугами И. Е. Рѣпина.

Единственный симпатичный Пушкинскій уголокъ въ Петербургѣ, уголокъ, который доставляетъ глубочайшее душевное облегченіе искреннимъ почитателямъ поэта — это Пушкинскій музей на Каменноостровскомъ проспектѣ при Императорскомъ Александровскомъ лицеѣ. Музей невеликъ, но зато вполнѣ оправдываетъ пословицу: „малъ золотникъ да дорогъ“. Большинство рѣдкостей, впрочемъ, хорошо извѣстны петербургской публикѣ по недавней Пушкинской выставкѣ (маска поэта, палка поэта, знаменитое кольцо-талисманъ, медальонъ съ пучкомъ волосъ Пушкина, рукописи Пушкина съ автографомъ знаменитаго „19-го октября 1825 г.“ во главѣ и т. д.). Неизвѣстны большинству только конкурсныя модели памятниковъ Пушкину, укра-

шающія лицейское помѣщеніе Пушкинскаго музея съ эффектной грандіозной статуей, принадлежащею рѣзцу Забѣлло. Особенно дорого русскому сердцу то вниманіе къ памяти великаго поэта, которое обнаруживается въ лицеѣ не только на словахъ, а и на самомъ дѣлѣ, къ своему бывшему воспитаннику: ибо музей содержится въ образцовомъ порядкѣ, и на каждомъ футлярѣ и витринѣ лежитъ печать самаго благоговѣйнаго отношенія къ Пушкинскимъ реликвіямъ. И потомъ, какъ слышно, въ недалекомъ будущемъ предположено его значительно расширить, а также основать новые отдѣлы: „Салтыковскій", посвященный памяти Щедрина, также бывшаго лицеиста, и другой, посвященный „памяти Мея". Въ добрый часъ! Примѣръ въ высшей степени трогательный и, вѣроятно, ему послѣдуютъ, по горячимъ слѣдамъ, и другія учебныя заведенія, начиная съ училища Правовѣдѣнія, воспитавшаго въ своихъ стѣнахъ геніальнаго П. И. Чайковскаго, поэта Апухтина и т. д. Кстати сказать, воспитанникъ лицея старшаго курса, оказавшійся случайнымъ моимъ путеводителемъ, давалъ мнѣ объясненія не только съ видимою любовью къ Пушкинскимъ сокровищамъ, но и съ такими подробностями, которымъ бы позавидовалъ любой педагогъ.

Между прочимъ, разсказъ моего любезнаго проводника о томъ, какъ празднуютъ въ лицеѣ ежегодно „19-е октября", невольно наталкиваетъ на другой вопросъ: почему бы, помимо этого частнаго празднованія Пушкина, не создать „ежегоднаго" чествованія въ память поэта для всей русской публики, вообще? Отчего, напримѣръ, малороссы ежегодно чествуютъ память Шевченко панихидой въ

Казанскомъ соборѣ и соотвѣтствующей литературной вечеринкой—а мы, великороссы, стоимъ постыдно позади... Пушкинъ скончался, какъ извѣстно, утромъ 29-го января, въ 2³/₄ ч. пополудни. *Въ этотъ день и часъ ежегодно должны совершаться панихиды: одна отъ лица литераторовъ, у Пѣвческаго моста и, другая, народная, въ Казанскомъ соборѣ, для всей публики!!.* Вы помните вдохновенныя слова поэта Фофанова, заключившія московское Пушкинское торжество:

„Тебѣ, незабвенному,
Въ величіи нетлѣнному,
Баяну священному—
Славу поемъ!..“

Неужели же для просвѣщеннаго общества необходимъ еще новый полувѣковой промежутокъ, чтобы достойно „пѣть славу“ величайшему сыну земли русской?!

С.-Петербургъ,
Іюнь 1900 г.

ПРИМѢЧАНІЯ.

I.

РОДНЫЕ ОТГОЛОСКИ.

(Стран. 24).

Какъ характерный образчикъ того отмѣннаго вниманія и уваженія, съ какимъ относится въ провинціи ея т. н. интеллигентная часть къ званію литератора,—вдобавокъ, литератора, имѣющаго имя и не мало послужившаго дѣлу народнаго театра,—привожу во всей прежестокой неприкосновенности „оффиціальное посланіе“, направленное по моему адресу изъ г. Кинешмы отъ гг. кинешемскихъ театральныхъ любителей:

ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО

Г-ну Ивану Щеглову.

Милостивый Государь!

Статья Ваша „Пушкинскіе дни въ провинціи“, помѣщенная въ № 14 Литературнаго приложенія къ „Торгово-Промышленной Газетѣ“, привела насъ въ большое недоумѣніе. Для насъ совершенно непонятно, для чего Вы пріѣзжали въ Кинешму и съ какою цѣлью писали свои путевыя замѣтки. Если Вамъ хотѣлось проявить надъ чѣмъ-нибудь свое остроуміе и излить накопившуюся желчь, то для этого не было надобности ѣхать за 1000 верстъ: матеріала для Вашихъ остротъ и желч-

ныхъ изліяній, вѣроятно, нашлось бы достаточно и въ столицѣ; убѣдиться въ томъ, что мелкіе торгаши и промышленники интересуются больше своими денежными расчетами, чѣмъ Пушкинымъ, Вы также могли бы съ успѣхомъ въ любомъ петербургскомъ трактирѣ, „гдѣ кормятъ довольно сносно“, а что городскіе головы не объясняютъ на улицахъ „сиволапымъ мужикамъ“ значеніе Пушкинскаго юбилея,—до этого можно было-бы додуматься даже сидя у себя въ кабинетѣ.

Но, оставляя въ сторонѣ Вашу критику провинціи, вообще, мы считаемъ необходимымъ высказать Вамъ нѣсколько словъ по поводу Вашего отношенія къ театру и любителямъ.

Отъ человѣка, который серьезно интересуется дѣломъ народнаго театра, казалось, можно было-бы ожидать нѣсколько иныхъ пріемовъ наблюденія и иного отношенія къ фактамъ изъ этой области, чѣмъ то, которое проявили Вы... Какой-нибудь борзописецъ изъ „Московскаго Листка“ и тотъ, замѣтивъ въ Кинешмѣ существованіе театра, посвященнаго имени А. Н. Островскаго, поинтересовался-бы прежде всего узнать при какихъ обстоятельствахъ и на какія средства выстроенъ этотъ театръ, а потомъ уже сталъ бы наводить на него критику; а Вы, присяжный говорунъ о народномъ театрѣ, не справившись ни о томъ, ни о другомъ, начинаете фыркать на то, что сосѣдство театра неудачно и что театръ передѣланъ изъ казармъ (что не совсѣмъ вѣрно), не привлекателенъ и не отдѣланъ снаружи, бросая этимъ ничѣмъ не обоснованный упрекъ тѣмъ людямъ, которые создали этотъ театръ.

Замѣчаніе Ваше о томъ, что сосѣдство театра съ родильнымъ пріютомъ можетъ послужить поводомъ къ весьма нежелательнымъ недоразумѣніямъ, совершенно непонятно, а потому и не умно, и не остроумно... хотя, видимо, Вы и выучивали какую-то остроту. Также довольно плоскимъ выходитъ и Вашъ намекъ на то, что публика апплодировала чтецамъ потому, что одинъ—фабричный инспекторъ, а другой—городской учитель. Оказывается, что кинешемская публика лучше, чѣмъ г. Иванъ Щегловъ, понимаетъ, что надъ людьми, которые безкорыстно и искренно желаютъ принести пользу, не слѣдуетъ издѣваться, *а нужно оставаться имъ благодарными, какъ бы плохо они ни выполняли свою задачу.* А дурно или хорошо справляется съ своей задачей кинешемскій музыкально-драматическій кружокъ имени А. Н. Островскаго, поставившій своею цѣлью доставлять разумныя развлеченія обывателямъ города и его окрестностей, лучше всего доказываетъ сама публика, которую насильно никто въ театръ не тащитъ, а отъ которой между тѣмъ нѣтъ отбоя, какъ Вамъ объяснилъ кинешемскій мѣщанинъ „въ длиннополомъ сюртукѣ и темно-синей рубашкѣ со шнурами“. Любопытно, что этотъ же мѣщанинъ объясняетъ Вамъ, что „въ Кинешмѣ только и есть, что театръ, гдѣ можно разумной твари душу отвести“; а Вы, изслѣдователь народнаго театра, интересуетесь только тѣмъ, какъ длинны бываютъ антракты; о томъ, какъ часто идутъ спектакли, какія ставятся пьесы, хорошо ли играютъ, Вы не спрашиваете и берете на себя смѣлость обзывать кинешемскихъ любителей безтолковыми. Извините

насъ, но это по меньшей мѣрѣ неприлично... Нѣтъ, г. Иванъ Щегловъ—не радѣтель Вы народнаго театра, а врагъ его!... Хорошо, что кинешемскіе „безтолковые“ любители, съумѣвшіе изъ ничего создать театръ, въ которомъ въ теченіе послѣдней зимы было дано съ участіемъ четырехъ профессіональныхъ артистовъ 30 спектаклей, состоящихъ почти исключительно изъ классическаго репертуара (а не изъ фарсовъ и мелодрамъ, какъ въ большинствѣ народныхъ театровъ Петербурга, гдѣ „шумъ, гремятъ витіи...“ и дѣйствуетъ г. Иванъ Щегловъ!), заслужившихъ симпатіи не только мѣстной публики, но и всѣхъ, случайно побывавшихъ на нихъ, и привлекшихъ болѣе 4000 человѣкъ простого народа, помѣщающагося на галлереѣ (всѣхъ жителей въ Кинешмѣ—7000),—хорошо, мы говоримъ, что эти любители настолько вѣрятъ въ свои силы, что Ваши ругань и издѣвательство не могутъ поколебать ихъ энергіи, но другіе любители, не менѣе искренно и безкорыстно желающіе послужить дѣлу народнаго театра, но менѣе опытные въ этомъ дѣлѣ, могутъ послѣ Вашихъ ругательствъ сложить оружіе и предоставить поле дѣйствія Вамъ и профессіональнымъ актерамъ. А между тѣмъ не Вы, гоняющійся, очевидно, только за построчною платою (въ чемъ по крайней мѣрѣ мы видимъ единственную цѣль писанія Вами статьи о Пушкинскихъ дняхъ въ провинціи), и не профессіональные актеры, думающіе главнымъ образомъ о сборахъ, создаютъ у насъ народный театръ, а именно любители. Такимъ образомъ, если Вы, г. Иванъ Щегловъ, дѣйствительно принимаете близко къ сердцу интересы

народнаго театра, то не глумиться надъ любителями и не ругать должно бы ихъ, дискредитируя тѣмъ серьезное дѣло въ глазахъ постороннихъ людей и передъ тѣми элементами общества, противъ которыхъ и ведется борьба путемъ устройства разумныхъ развлеченій, а помогать имъ своимъ добрымъ совѣтомъ.

Если вы находите „простодушно безтолковой суетней" дѣятельность Кинешемскаго кружка имени А. Н. Островскаго, хотя эта дѣятельность вызвала во время Пушкинскаго юбилея восторгъ публики, какъ Вы сами изволили замѣтить, и привлекла къ участію въ чествованіи Пушкина одну восьмую часть населенія города, то, *укажите иной болѣе толковый путь для этой дѣятельности*, а не говорите уже поистинѣ безтолковыхъ рѣчей, вродѣ того, что театръ слѣдуетъ оштукатурить (это всякій знаетъ, да безъ денегъ никто не съумѣетъ этого сдѣлать), что стыдно Кинешмѣ не имѣть Пушкинскаго бюста (въ то время, какъ въ Маріинскомъ театрѣ въ Петербургѣ во время Пушкинскаго спектакля былъ на сценѣ также портретъ, а не бюстъ Пушкина), что изъ вѣтвей зелени получается куча всякаго мусора и тому подобныхъ, которыми такъ изобилуетъ Ваша, пропитанная непонятною желчью и изукрашенная цвѣтами краснорѣчія, статья.

Предсѣдатель Правленія Кинешемскаго Музыкально-Драматическаго Кружка имени А. Н. Островскаго, *П. Хомутовъ*.

За Секретаря, *А. Клепиковъ*.

Г. Кинешма. 31 іюля 1899 года.

P. S. Гг. кинешемскіе любители видимо дѣйствуютъ, въ данномъ случаѣ, безъ пути, такъ какъ желаемый путь довольно обстоятельно указанъ въ одной книгѣ, посвященной народному театру (Иванъ Щегловъ „Народный театръ, въ очеркахъ и картинкахъ". СПБ. Изданіе второе, А. С. Суворина). Вообще, крайне прискорбно, что большинство россійскихъ интеллигентовъ, ищущихъ настоящаго пути, предпочитаетъ длинный окольный путь личнаго обращенія къ автору болѣе прямому и краткому... ведущему въ книжный магазинъ!!..

II.

НАРОДНОЕ ПОВѢРЬЕ О ПУШКИНѢ.

(Стран. 27).

Впослѣдствіи, отъ другого ямщика, мнѣ удалось дознаться, въ чемъ собственно заключается эта „опасность" отъ чтенія сочиненій Пушкина. Опасность, оказывается, заключается въ томъ, что Пушкинъ слишкомъ близко стоитъ къ Царю:— „Потому этотъ самый Пушкинъ, будетъ, никакъ иначе, какъ Государевъ крестникъ!" секретно повѣдалъ мнѣ на ухо означенный ямщикъ. Источникъ этой путаницы, происходящей въ мозгу нѣкоторыхъ крестьянъ, получилъ, какъ надо полагать, начало изъ повѣсти Пушкина „Арапъ Петра Великаго". Герой ея, знаменитый Ганнибалъ, прадѣдъ Пушкина по матери и „Государевъ крестникъ" въ дѣйствительности, слился, очевидно, въ воображеніи сѣраго читателя, съ авторомъ повѣсти.

Съ другой стороны, извѣстная близость Пушкина къ Императору Николаю I, обстоятельства ссылки поэта въ с. Михайловское и таинственная строгость, окружавшая перевезеніе его праха и погребеніе на Святыхъ Горахъ, благопріятствовали какъ нельзя болѣе, уже въ силу традиціи, укрѣпленію въ робкихъ сельскихъ умахъ понятія объ опасности, сопряженной со всякимъ сближеніемъ съ Пушкинымъ, хотя бы самымъ отдаленнымъ и отвлеченнымъ. Во всякомъ случаѣ, эта черта очень любопытна, какъ характерный остатокъ стариннаго народнаго повѣрія о Пушкинѣ, какъ историческій показатель того, насколько медленно проростаетъ „народная тропа“ къ свободному поклоненію великаго поэта.

III.

ДВА ОБИДНЫХЪ НЕДОРАЗУМѢНІЯ.

(Стран. 35).

Кромѣ Костромского духовенства, уклонилось также отъ служенія панихиды по Пушкинѣ 26 мая духовенство г. Перми. Оба эти факта слишкомъ краснорѣчивы, чтобъ ихъ не отмѣтить здѣсь на поученіе потомству.

Впрочемъ, и въ наши дни повторилась почти та же исторія съ чествованіемъ памяти Лермонтова въ Пятигорскѣ. Несмотря на то, что со дня трагической кончины поэта прошло шестьдесятъ лѣтъ, Пятигорское духовенство уклонилось отъ служенія панихиды при открытіи памятника на мѣстѣ смерти поэта. Такимъ образомъ звуки крот-

кой молитвы замѣнены были звуками военной музыки, и общій военный характеръ чествованія явилъ собой какъ бы аллегорическое прославленіе самой идеи дуэли.

Небезынтересно по этому поводу отмѣтить недавнее сообщеніе, что надъ священникомъ о. Павломъ, который хоронилъ Лермонтова, наряжено было слѣдствіе, и въ строгомъ архіерейскомъ выговорѣ между прочимъ, ставилось на видъ, „что не только не слѣдовало совершать надъ убитымъ обрядъ но по духу нашей церкви его нужно было передать палачу, а послѣдній, зашивъ Лермонтова въ мѣшокъ, долженъ былъ влачить его по городу до ямы, вырытой за оградой кладбища“ („Нов. Время“. 20 Іюля 1901 г.).

IV

ГЕНІАЛЬНЫЕ ЛЮДИ ВЪ АДУ.

(Стран. 43).

Одинаковаго, очевидно, взгляда съ Евдокимомъ Коровкинымъ на званіе поэта держался сельскій художникъ, писавшій картину Страшнаго Суда въ церкви села Подмоклова (на берегу рѣки Оки, близъ Серпухова) и изобразившій въ когтяхъ діавола, среди татей и блудниковъ... поэта Лермонтова! („Сѣв. Кур.“ 11 мая 1900 г.).

Въ утѣшеніе скорбной тѣни поэта, можно, впрочемъ, привести свидѣтельство одного московскаго археолога, видѣвшаго въ старинной церкви г. Новгорода, на таковой же „Судной картинѣ“, въ сообществѣ нечестивцевъ, осужденныхъ на адскія муки, ни болѣе, ни менѣе, какъ самого... Петра Великаго!!.

V.

О ПОПѢ ШКОДѢ И ЛОШАДЯХЪ ПУШКИНА.

(Стран. 59).

Склоненъ думать что именно этотъ самый пресловутый „попъ Шкода“ послужилъ прототипомъ Пушкинскаго чернеца Варлаама (сцена въ Корчмѣ). По словамъ лицъ, знавшихъ „Шкоду“, онъ былъ въ сильной степени приверженъ зелену вину и, вмѣстѣ съ тѣмъ, неистощимый весельчакъ, юмористъ и анекдотистъ. Случалось, подчасъ, что даже въ храмѣ, во время службы, онъ не умѣлъ удержаться отъ своихъ юмористическихъ выходокъ, являя собой живую фигуру въ жанрѣ монаховъ Раблэ. Недаромъ его прозвали „Шкода“, явно производя прозвище отъ глагола шкодить, т. е. дурить, проказить, прокудить. По словамъ Л. Н. Павлищева, много популярная и немного нескромная пѣсня, начинающаяся словами:

„Неизвѣстнаго прихода
Жилъ такой сердитый попъ,
Что четыре сряду года
Билъ дьячка кадиломъ въ лобъ“...

пущена была именно по поводу этого самого попа Шкоды. По крайней мѣрѣ, таковое преданіе перекочевало въ людскую матери Л. Н., Ольги Сергѣевны, изъ села Михайловскаго; а какъ извѣстно, всѣ жители Михайловскаго считались прихожанами церкви на Вороничѣ.

Во всякомъ случаѣ, непростительное заблужденіе—смѣшивать попа Шкоду съ игуменомъ Святогорскаго монастыря о. Іоною, подъ надзо-

ромъ котораго состоялъ Пушкинъ во время своей ссылки, какъ это дѣлаетъ напримѣръ „М.—Е.“, въ статьѣ „Святыя горы“ (Нов. Вр. 8 Іюня 1899 г.) Гораздо основательнѣе было бы здѣсь предположить, что малоразговорчивый, простоватый о. Іона далъ Пушкину второй списокъ—для сотоварища о. Варлаама „о. Мисаила“; тѣмъ болѣе, что даже намеки въ трагедіи на наружность послѣдняго близко сходятся съ описаніемъ наружности о. Іоны, сдѣланной Пущинымъ въ его воспоминаніяхъ о посѣщеніи с. Михайловскаго. Оба пастыря—и Шкода—Варлаамъ и Іона—Мисаилъ были, какъ извѣстно, частыми посѣтителями домика въ селѣ Михайловскомъ и усердными цѣнителями искусныхъ настоекъ Арины Родіоновны. Повидимому, и А. Н. Вульфъ тоже ошибается, приписывая народныя остроты о. Варлаама заимствованію у игумена Іоны. Фигура попа Шкоды гораздо сочнѣе и характернѣе—таковой она является и у Пушкина въ перевооплощеніи ея въ чернеца Варлаама. Нѣтъ ничего удивительнаго, что родная дочь Шкоды въ своихъ воспоминаніяхъ деликатно скрадывала эту основную „варлаамовскую черту“ своего тятеньки.

Дополнительныя свѣдѣнія о „попѣ Шкодѣ“, собранныя нами недавно на мѣстѣ, т. е. въ пригородѣ Вороничѣ и его окрестностяхъ, какъ нельзя болѣе укрѣпляютъ вышесказанное предположеніе. Сложенія онъ былъ крѣпкаго, лицо имѣлъ сухощавое, походку быструю; а остальное все по Пушкину (см. „Сцену въ корчмѣ“): „росту средняго, лобъ плѣшивый... брюхо толстое“. Пилъ онъ, дѣйствительно, изрядно, особеннымъ безкорыстіемъ

также не могъ похвастаться, но попъ былъ умный, начитанный и острословъ первой руки. Самая подпись его въ церковныхъ книгахъ Воскресенскаго храма — „Илларіонъ Евдокимовичъ Раевскій“ — рѣзко бросается въ глаза своею красивостью, легкостью и отчетливостью среди обычной семинарской прописи его сослуживцевъ. Когда Пушкинъ впервые познакомился со Шкодой, т. е. въ 1824—25 гг. (періодъ созданія „Бориса Годунова“), послѣднему было лѣтъ 30—35 не больше; прожилъ же онъ, не смотря на крайне невоздержанную жизнь, до глубокой старости, и еще лѣтъ 15—16 назадъ, любой пушкиньянецъ могъ бы лично почерпнуть у почтеннаго собесѣдника и собутыльника Пушкина настоящія сокровища. Кромѣ нынѣ здравствующей дочери, былъ у него еще сынъ Александръ, посвященный въ дьяконы, но не отличаясь даровитостью отца, онъ отличался исключительно безпутной жизнью и умеръ рано, не мало содѣйствовавъ матеріальному разоренію своего отца. Дочери же его, Акулинѣ Ларіоновнѣ Раевской или, какъ ее называютъ по-сейчасъ на Вороничѣ, „Шкодихѣ“, по справкѣ въ метрическихъ книгахъ, въ настоящее время идетъ 83-й годъ. Слѣдовательно, въ первый пріѣздъ Пушкина въ с. Михайловское ей было 7—8 лѣтъ, а въ послѣдній пріѣздъ—лѣтъ 16—17. Односельчане, помнящія ее въ молодые годы, единогласно утверждаютъ, что это была настоящая красавица—рослая, смуглая, живая, веселая—словомъ, совсѣмъ Пушкинская „смуглая красавица Акулина“ изъ извѣстной повѣсти.

Среди мѣстнаго населенія попъ Шкода пользовался при жизни огромной популярностью, похо-

роны же его были необыкновенно сердечны и многолюдны; а народныя поминки, послѣ погребенія, превратились въ гомерическую всепьянѣйшую тризну, о которой живые участники до сихъ поръ вспоминаютъ съ явнымъ умиленіемъ. Однако, при всей своей извѣстной слабости, попъ Шкода былъ очень строгій блюститель церковнаго устава, по отношенію къ причту держалъ себя начальственно и, хотя сердечно входилъ въ нужды прихожанъ, но особенной фамильярности съ собой не допускалъ; а однажды, на погостѣ, даже собственноручно расправился съ парнемъ, который, по своему деревенскому простодушію, позволилъ себѣ его величать при народѣ „отцомъ Шкодой". До чего популярность „отца Ларивона" (такъ называютъ его въ меньшинствѣ) крѣпка до сихъ поръ, спустя слишкомъ 16 лѣтъ, доказываетъ то трогательное обстоятельство, что въ поминаніяхъ, подаваемыхъ въ Воскресенской церкви простымъ людомъ, сплошь попадается въ числѣ близкихъ и сродственниковъ имя „Іерея Илларіона".

Какъ разъ послѣ того, когда порывшись въ метрикахъ Вороничскаго погоста, я направился на сосѣднюю гору, на Тригорское кладбище (чтобы поклониться праху двухъ искреннихъ друзей поэта— П. А. Осиповой и А. Н. Вульфа), изъ маленькаго церковнаго домика, на горѣ, долетѣли до меня трепетные звуки гитары и слова знакомой пѣсни:

„Неизвѣстнаго прихода
Жилъ такой сердитый попъ..."

Что же оказалось? Этотъ, до извѣстной степени „приходской романсъ", пѣлъ отецъ діаконъ и, вдо-

бавокъ моего полнаго удовольствія (какъ выяснилось затѣмъ) тотъ самый діаконъ, который нѣкогда служилъ вмѣстѣ съ самимъ о. Шкодой. По общему отзыву, пѣсня эта здѣсь особенно популярна и составляетъ давнюю принадлежность интимнаго репертуара мѣстныхъ дьячковъ и псаломщиковъ; псковскими семинаристами она также достаточно облюбована. Принимая во вниманіе исто народную популярность о. Шкоды и то обстоятельство, что сюжетъ пѣсни вертится „на попѣ, явно подвыпившемъ, который никакъ не можетъ найти нужной страницы въ библіи, изъ которой мстительный дьячекъ заблаговременно вынулъ закладку“,— мѣстная молва, утверждающая, что означенные стихи направлены именно по адресу о. Шкоды, не лишена доли вѣроятія. Кто же ихъ сочинилъ? Стихъ звучный, мѣткій, легко запоминающійся... „Никакъ иначе, что Пушкинъ!“ полагаютъ здѣсь на Вороничѣ и въ Тригорскомъ. И отчего бы въ самомъ дѣлѣ не такъ? Отчего бы не допустить, что эта шуточная пародія, пріобрѣтшая такую неувядаемую извѣстность, есть одна изъ тѣхъ безобидныхъ мимоходныхъ стихотворныхъ шалостей, которыхъ Пушкинъ обронилъ не мало во время своего пребыванія въ с. Михайловскомъ?!..

А вотъ еще маленькій анекдотъ изъ жизни того же попа Шкоды, дорисовывающій несовсѣмъ лестнымъ штрихомъ эту характерную фигуру. И вотъ при какихъ обстоятельствахъ я его услышалъ. Какъ разъ наканунѣ моего отъѣзда изъ с. Михайловскаго, разговорился я со старикомъ-крестьяниномъ, помнящимъ Пушкина. Впрочемъ, онъ не столько отчетливо помнилъ самого Пушкина, сколь-

ко его двухъ верховыхъ лошадей, изъ которыхъ одна, какъ извѣстно, воспѣта Языковымъ:

„На ворономъ аргамакѣ,
Заморской шляпою покрытый,
Спѣша въ Тригорское, одинъ —
Вольтеръ и Гете, и Расинъ,
Являлся Пушкинъ знаменитый...“

А. Н. Вульфъ подсмѣивался по этому поводу, свидѣтельствуя какъ очевидецъ, „что на самомъ дѣлѣ у поэта никакого аргамака не было и что пріѣзжалъ онъ весьма прозаически, на старой клячѣ“ (Л. Майковъ). То же самое подтвердилъ и мой старичекъ-собесѣдникъ...

— Плохіе кони у Пушкина были... вовсе плохіе!— повѣдалъ онъ мнѣ, сокрушенно покачивая бѣлой, какъ лунь, головой.—Одинъ былъ вороной, а другой гнѣдко... гнѣдой—Козьякомъ звали... значитъ, по мужику, у котораго его жеребеночкомъ взяли. (Козьякъ или, вѣрнѣе, Козлякъ — также названіе болотнаго гриба. Очевидно, это и была та самая „старая кляча“, надъ которой подтруниваетъ г. Вульфъ). Этотъ самый Козьякъ совсѣмъ дрянной конь былъ, а только долго жилъ... А вороной, тотъ скоро подохъ,—продолжалъ охать мужикъ: — изъ-за попа подохъ... изъ-за Шкоды!

— А ты зналъ попа Шкоду?

Сморщенное лицо старика расплылось въ широкую, довольную улыбку, какъ при воспоминаніи о чемъ-то очень чудномъ и любопытномъ.

— Вона... Шкоды не знать — отца Ларивона! Чай, онъ меня вѣнчалъ на Вороничѣ, а ни кто другой... Хорошій былъ попъ, правильный... А только

жадный—ой, жадный!.. Вотъ какъ сейчасъ помню, на этомъ самомъ мѣстѣ что вышло... (мы сидѣли на скамеечкѣ въ фруктовомъ саду, спиной къ Пушкинскому домику и лицомъ къ проѣзжей дорогѣ). Не хватило, значитъ, у попа Шкоды сѣна. Попъ былъ богатѣющій, справный, а такъ вышло, что не хватило, вотъ онъ и попросилъ у Пушкина... А баринъ былъ добрый, далъ безъ слова—бери, сколько хошь. Вотъ Шкода и обрадовался, навалилъ такой огромадный возъ, что возу съ мѣста не сдвинуться, ништо что поповская лошадь была крѣпкая, здоровая. Ни взадъ, ни впередъ. Пришлось, въ помощь, Пушкинскаго вороного впречь. Ничего, двинулись; а только, у самыхъ трехъ сосенъ, какъ стало тяжко подниматься въ гору—вороной и надорвись... Надорвался и тутъ же, подлѣ трехъ сосенъ, и подохъ! (Какъ видите, кончина „Языковскаго аргамака", послѣдовавшая около знаменитыхъ трехъ сосенъ, и тутъ окружена какъ бы нѣкоторымъ ореоломъ поэзіи). А все изъ-за поповской жадности подохъ!—заключилъ старикъ.—Не пожадничай попъ... онъ бы еще повозилъ Пушкина. Опосля Пушкинъ все уже на гнѣдомъ ѣздилъ... другой никакой лошади не было!..

Эта „шкодливая" черта, получившая свое косвенное отраженіе въ извѣстной сказкѣ Пушкина о жадномъ попѣ и работникѣ его Балдѣ—черта все-же побочная и, такъ сказать, семинарски преемственная. Минуя ее, нельзя не вспомнить съ чувствомъ о трогательной преданности попа Шкоды къ „Михайловскому барину" и о его глубокомъ горѣ при извѣстіи о смерти поэта. А тотъ несомнѣнный фактъ, что означенный попъ Шкода, во

время таинственнаго ночлега тѣла Пушкина на погостѣ Воронича, не убоясь суровой кары, громко поетъ по Пушкину панихиду—заслуживаетъ прямой признательности потомства. Это уже не заурядныя черты доблестнаго гражданскаго мужества и широкой независимости характера!..

VI.

О ДОМѢ ДМИТРІЕВА И МОГИЛѢ НЯНИ ПУШКИНА.

(Стран. 96).

Никакой почтительной надписи на стѣнѣ историческаго дома Димитріева, въ Казачьемъ переулкѣ, до сихъ поръ не значится; хотя весьма явственный снимокъ съ этого дома помѣщенъ въ приложеніи къ Новому Времени ровно два года тому назадъ (Нов. Вр. 28 августа 1899 г. № 8441). Въ Парижѣ или Берлинѣ съ радостью ухватываются за малѣйшій историческій намекъ, чтобы прибить доску съ золотыми литерами и сдѣлать такимъ образомъ вполнѣ достойную рекламу своему дому; а у насъ господа домовладѣльцы ждутъ по полувѣку соотвѣтствующаго распоряженія отъ высшаго начальства или городской управы... упуская изъ вида, что, кромѣ высшаго начальства и городской управы, у каждаго человѣка, имѣющаго собственный домъ, имѣется также собственный умъ и собственный карманъ.

Это замѣчаніе относится, разумѣется, не къ одному домовладѣльцу въ Казачьемъ переулкѣ. Къ стыду нашему, до сихъ поръ не отмѣчены

соотвѣтствующими надписями—ни домъ въ Петербургѣ, гдѣ скончался Достоевскій, ни флигель въ Москвѣ, гдѣ онъ родился; въ нижнемъ этажѣ дома на Никитскомъ бульварѣ, гдѣ скончался Гоголь, помѣщается, если не ошибаюсь, до сихъ поръ модная мастерская; а комната, гдѣ угасъ самъ великій Пушкинъ, занята подъ желѣзнодорожную канцелярію...

Кстати сказать, по поводу розысковъ моихъ въ домѣ Димитріева я получилъ письменный упрекъ отъ какого-то г. „русскаго“ — почему я не посвятилъ своего досуга на розыски „могилы няни Пушкина“ и не порылся въ архивѣ Введенской церкви, прихожанами которой считались жильцы дома Димитріева. Смѣю увѣрить г. русскаго, что я въ настоящемъ случаѣ поступилъ совсѣмъ не порусски: т. е. тщательно рылся какъ въ метрическихъ книгахъ Введенской церкви, такъ равно и въ церковномъ архивѣ Волкова кладбища, какъ старѣйшаго; разспрашивалъ по этому поводу кого только могъ, начиная съ племянника Пушкина и кончая дворникомъ дома, гдѣ жилъ камердинеръ Пушкина; перечелъ все, что нашелъ на этотъ счетъ по книжной части, включительно до новѣйшихъ интересныхъ комментаріевъ къ стихамъ объ Аринѣ Родіоновнѣ профессора Н. Ѳ. Сумцова (Харьковск. Универс. Сборникъ)—словомъ, сдѣлалъ все, что было въ моихъ скромныхъ средствахъ сдѣлать на мѣстѣ...

Не преминулъ я также заглянуть на родину Арины Родіоновны въ село Кобрино (въ пяти верстахъ отъ станціи Суйда Варшавской ж. д.), но ничего любопытнаго тамъ не нашелъ. Историческій

домъ, видѣвшій въ своихъ стѣнахъ бабушку Пушкина, Марью Алексѣевну Ганнибалъ, лѣтъ двадцать тому назадъ какъ сгорѣлъ и на его мѣстѣ воздвигнутъ новый, принадлежащій г. Карташевскому—управляющій коего, кстати сказать, обнаружилъ весьма смутное понятіе о самомъ существованіи Пушкина. Вдобавокъ, кладбище при селѣ, возбуждавшее издалека нѣкоторыя надежды, оказалось лютеранское и унылая деревянная кирка, его осѣнявшая, мало говорила русскому сердцу и воображенію.

Такимъ образомъ, вопросъ о мѣстѣ успокоенія почтенной Арины Родіоновны остается пока открытымъ. Впрочемъ, среди нѣкоторыхъ землевладѣльцевъ Опочецскаго уѣзда, ближайшихъ къ Святымъ Горамъ, держится почему-то преданіе, будто-бы безименный простого тесаннаго камня крестъ находящійся по правую руку могилы Пушкина (между памятникомъ Пушкина и памятникомъ игумена Святогорскаго монастыря Геннадія) есть именно тотъ самый крестъ, о которомъ аллегорически вспоминаетъ Татьяна Пушкина:

„Гдѣ нынче крестъ и тѣнь вѣтвей
Надъ бѣдной нянею моей...“

Но никакихъ достаточныхъ основаній или указаній до сихъ поръ къ этому не имѣется.

VII.

ДВѢ ИТАЛЬЯНСКІЯ ДРАМЫ, ПОСВЯЩЕННЫЯ ЖЕНИТЬБѢ ПУШКИНА.

(Стран. 104).

Кромѣ означенной четырехъ-актной драмы Піетро Косса „Пушкинъ“, существуетъ еще другая, трехъ-актная, тоже итальянскаго драматурга и на тотъ же сюжетъ: „Александръ Пушкинъ“ Валентина Карреро. Обѣ драмы въ настоящее время переведены и изданы въ одномъ изящномъ томикѣ гг. К. и Э. Д.—Драма Каррера открывается прологомъ (въ которомъ Пушкинъ наслаждается свободой среди табора цыганъ) съ меланхолическимъ эпиграфомъ изъ Мицкевича: „Пушкинъ несчастливъ, потому что чувствуетъ, что его жизнь, утративъ свободу, не имѣетъ больше цѣли“; а драма Косса кончается жестокимъ словомъ поэта Дельвига, надъ трупомъ Пушкина, по адресу Наталіи Николаевны: „Ваше женское легкомысліе лишило Россію ея величайшаго поэта!!“ И эти характерные „начало и конецъ“ какъ бы заключаютъ собой эту маленькую любопытную книжку въ яркую идейную рамку, оттѣняющую взглядъ итальянскихъ авторовъ на семейную трагедію Пушкина...

Къ сожалѣнію П. Перцовъ, удѣлившій въ Нов. Вр. цѣлый фельетонъ разбору означенныхъ авторовъ (Нов. Вр. 24 Ноября 1899 г.), рѣзко освѣтивъ недостатки Валентина Карреро, оставилъ въ тѣни достоинства Піетро Косса. А одно имя знаменитаго автора „Нерона“, казалось, должно было бы внушить почтенному критику поступить какъ разъ обратно.

Кстати, небольшое замѣчаніе по адресу переводчика драмы Валентины Карреро. Въ прологѣ драмы, въ сценѣ между Пушкинымъ и цыганкой Митидинкой, есть такія строки:

Митидинка. Вѣрно, очень велика обида, нанесенная тебѣ, если ты не можешь забыть ее даже въ моихъ объятіяхъ?

Пушкинъ. Суди сама: я былъ сосланъ въ Крымъ, какъ простой злоумышленникъ, за пѣснь о свободѣ!!..

Между прочимъ, въ итальянскомъ текстѣ объяснена самая сущность „великой обиды", заставившей бѣжать поэта въ цыганскій таборъ: экзекуція розгами, которой былъ подверженъ поэтъ по распоряженію генералъ-губернатора. Переводчикъ все это презрительно вычеркнулъ, какъ возмутительную и ни съ чѣмъ несообразную выдумку. Очевидно, онъ совершенно упустилъ изъ вида, что дѣйствіе происходитъ въ Россіи, въ Аракчеевское время, и что дыма безъ огня не бываетъ. Напомнимъ ему по этому поводу о черновикѣ Пушкинскаго письма, набросаннаго въ ссылкѣ, въ 1825 году, къ Императору Александру Первому: „Мнѣ было 20 лѣтъ въ 1820 году. Необдуманные отзывы, сатирическіе стихи. Разнесся слухъ, будто я былъ отвезенъ въ секретную канцелярію и высѣченъ. Слухъ былъ общимъ и до меня дошелъ до послѣдняго. Я увидалъ себя опозореннымъ передъ свѣтомъ. На меня нашло отчаяніе; я метался въ стороны, мнѣ было 20 лѣтъ. Я соображалъ, не слѣдуетъ ли мнѣ прибѣгнуть къ самоубійству или умертвить...." и проч.

Нѣтъ поэтому ничего удивительнаго, что озна-

ченный слухъ перешелъ итальянскую границу въ нѣсколько преувеличенномъвидѣ.

VIII.

О ВТОРОМЪ БРАКѢ Н. Н. ПУШКИНОЙ.

(Стран. 112).

Г. Перцовъ въ своей статьѣ „Смерть Пушкина“ (Міръ Искусства 1899 г. № 21—22), являющейся косвенной защитой жены Пушкина, склоняется къ мысли, что Н. Н. гораздо была счастливѣе со своимъ вторымъ мужемъ, т. е. П. П. Ланскимъ. Да оно такъ и было на самомъ дѣлѣ, какъ подтвердило мнѣ одно лицо, жившее одно время въ домѣ Ланскихъ. По словамъ означеннаго лица, знавшаго Ланского, когда тому перевалило уже за пятьдесятъ лѣтъ, онъ былъ даже въ эти годы все еще замѣчательно красивымъ мужчиной и добродушнѣйшимъ по природѣ человѣкомъ; но то, что называется на военномъ жаргонѣ „ремешокъ“ Въ обществѣ, это былъ элегантный, вполнѣ свѣтскій человѣкъ, а на конногвардейскомъ плацу, гдѣ происходило ученіе его солдатъ, строго придирчивый николаевскій генералъ, не стѣснявшійся, какъ говорятъ, самыми безцеремонными пріемами и суровыми наказаніями. Въ общемъ—впечатлѣніе Скалозуба, но не того грубаго, мишурнаго Скалозуба, изображеніемъ котораго актеры искажаютъ Грибоѣдовскую комедію (вѣрный снимокъ тогдашнихъ нравовъ), а Скалозуба—красиваго, изящно-франтоватаго, словомъ „по внѣшности“ крайне привлекательнаго. Не вижу, поэтому, основанія... отчего бы

Наталія Николаевна не была еще болѣе счастлива съ Дантесомъ? Согласитесь, что отъ поручика Пирогова до полковника Скалозуба—дистанція совсѣмъ недальняго размѣра!.. И съ этой стороны г. Перцовъ совершенно правъ.

Повторяю, очень прискорбно, что до сихъ поръ не опубликовано ни одно письмо Н. Н. къ Пушкину. По отношенію къ Пушкину, такіе документы имѣютъ до извѣстной степени обще-государственное значеніе,—и пора-бы, намъ кажется, въ подобныхъ случаяхъ, установить по отношенію къ документамъ, касающимся великихъ людей, тождественную „юридическую отчуждаемость", простирающуюся послѣ извѣстнаго срока на самыя ихъ сочиненія.

Чуть ли не единственные слѣды руки жены Пушкина удалось намъ найти въ Калужскомъ музеѣ: двухстишіе Н. Н., въ семейномъ альбомѣ Гончаровыхъ, и ея же посланіе къ дѣдушкѣ Афанасію Николаевичу Гончарову по поводу своего брака съ поэтомъ („Три дня въ Калугѣ", дорожныя замѣтки Ив. Щеглова Нов. Вр. 1900 г. № 8830).

Не могу не оговориться здѣсь, что я былъ очень счастливъ, найдя впослѣдствіи, въ прекрасной книгѣ „О Пушкинѣ" В. Е. Якушкина, косвенное подтвержденіе основной причины, заставившей, по нашему мнѣнію, броситься Пушкина такъ безоглядно на встрѣчу смерти. „Нѣтъ никакого сомнѣнія,—говоритъ Якушкинъ,—въ совершенной безупречности Н. Н. Пушкиной и въ томъ, что Пушкинъ самъ вполнѣ довѣрялъ своей женѣ, что имъ въ столкновеніи съ Дантесомъ вовсе не руководило чуство ревности. Что-же заставило Пушкина драться съ Дантесомъ? Въ воспоминаніяхъ современниковъ

и въ литературѣ существуютъ разнообразные взгляды на этотъ вопросъ; но, кажется, дѣло объясняется лучше всего словами самого Пушкина, передаваемыми кн. Вяземскимъ въ письмѣ къ вел. кн. Михаилу Павловичу: „на увѣщеваніе друзей Пушкинъ сказалъ: я принадлежу странѣ и хочу, чтобы имя мое было чисто вездѣ, гдѣ оно извѣстно“... Другими словами, Пушкинъ чувствовалъ, что злостная интрига въ петербургскомъ обществѣ направлена противъ него, какъ противъ писателя, котораго не понимали и не хотѣли признавать въ этомъ обществѣ. И онъ не вынесъ этихъ постоянныхъ мелкихъ оскорбленій его имени, значеніе котораго для всей Россіи онъ сознавалъ. Гнусная интрига, которой онъ былъ жертвой, заставила его покончить дѣло рѣзко и рѣшительно. Онъ дрался за честь своего имени, прославленнаго по всей Россіи и грязнимаго въ петербургскихъ салонахъ!!..“

XVI.

„ИНЕЗА — РИЗНИЧЪ“.

(Стр. 139).

Профессоръ Харьковскаго университета М. Е. Халанскій, въ своей интересной замѣткѣ „Пушкинъ и г-жа Ризничъ“ (Харьковскій университетскій сборникъ въ память А. С. Пушкина“) опровергаетъ старую исторію о бѣгствѣ Ризничъ съ Исидоромъ Сабаньскимъ и называетъ новое лицо— польскаго князя Яблоновскаго... Но въ настоящемъ случаѣ, сущность нашей догадки отъ этого нимало

не мѣняется. Наконецъ, тайное ревнивое чувство могло продиктовать поэту эти строки по прямому адресу мужа Ризничъ, который, по справкѣ того же Халанскаго, былъ нрава довольно крутого и даже приставилъ къ г-жѣ Ризничъ своего слугу Филиппа, который зналъ каждый шагъ жены своего господина и обо всемъ доносилъ ему—вѣроломное шпіонство о которомъ Пушкинъ въ дѣйствительности могъ узнать „слишкомъ поздно"!..

X.

КАКЪ ПИСАТЬ ФАМИЛІЮ „БОРАТЫНСКІЙ"?

(Стран. 154).

Отецъ поэта Боратынскаго былъ правнукомъ Бѣльскаго шляхтича Ивана Петровича „Boratynski" выѣхавшаго въ Россію въ царствованіе Алексѣя Михаиловича, и родъ его происходитъ отъ знаменитаго древняго польскаго герба Корчакъ. Поэтому правильнѣе писать, какъ соглашается позднѣйшій біографъ поэта, „о", а не „а", т. е. Боратынскій, а не Баратынскій. Родственникъ поэта, съ которымъ мы находились одно время въ перепискѣ, также установилъ писать „Боратынскій" и этимъ какъ бы скрѣпилъ законность нашего правописанія.

Не лишнее, при этомъ, будетъ отмѣтить, что наиболѣе полную библіографію о Баратынскомъ, можно найти въ почтенномъ критико-біографическомъ трудѣ С. А. Венгерова. („Критико-біографическій Словарь" С. А. Венгерова. См. букву „Б").

XI.

О ДУШЕВНОЙ РАЗМОЛВКѢ МЕЖДУ ПУШКИНЫМЪ И БОРАТЫНСКИМЪ И О РУКОПИСИ „МОЦАРТА И САЛЬЕРИ“.

(Стран. 155).

Эта „душевная размолвка“, повидимому, не осталась тайной въ интимномъ Пушкинскомъ кружкѣ и осенью 1832 г. онъ пишетъ женѣ изъ Москвы... „*Кто тебѣ говоритъ, что я у Боратынскаго не бываю? Я и сегодня провожу у него вечеръ, и вчера былъ у него. Мы всякій день видимся. А до женъ намъ и дѣла нѣтъ.* Грѣхъ тебѣ меня подозрѣвать въ невѣрности къ тебѣ и въ разборчивости къ женамъ друзей моихъ. Я только завидую тѣмъ изъ нихъ, у коихъ супруги не красавицы, не ангелы прелести, не Мадонны, etc. etc.“ (Жена Боратынскаго, въ противоположность женѣ Пушкина, была совсѣмъ некрасива).

Здѣсь Пушкинъ какъ бы усиленно старается подчеркнуть свои прежнія отношенія къ Боратынскому, въ основательной предосторожности отъ лишнихъ сплетень, которымъ могъ бы дать пищу женскій болтливый язычекъ. Черезъ четыре года, упоминая о Боратынскомъ. онъ пишетъ, между прочимъ, женѣ: „*Любитъ меня одинъ Нащокинъ.* Но тинтере мой соперникъ, и меня приносятъ ему въ жертву. Слушая толки здѣшнихъ литераторовъ, дивлюсь, какъ они могутъ быть такъ порядочны въ печати и такъ глупы въ разговорѣ. Признайся: такъ ли и со мною? право боюсь. *Баратынскій однакожъ очень милъ. Но мы какъ-то холодны другъ къ другу...*“

Является небезосновательное предположеніе, что Пушкинъ, давшій въ началѣ какой нибудь поводъ замѣтить постороннимъ эту „душевную“ размолвку и затѣмъ, *внутренне отдѣлавшійся* отъ первой горечи разочарованія созданіемъ „Моцарта и Сальери“, сохранилъ къ Боратынскому „внѣшне“ самыя корректныя отношенія, стараясь по возможности затушевать передъ женой и друзьями интимную сторону этихъ отношеній. Излишне говорить, насколько эта внѣшняя, кажущаяся близость Пушкина къ Боратынскому, поднимала въ глазахъ толпы литературные фонды послѣдняго.

Къ прискорбію, мнѣ не пришлось доискиваться точныхъ слѣдовъ, гдѣ находится въ настоящее время рукопись „Моцарта и Сальери“, не смотря на многолюбезное содѣйствіе такихъ присяжныхъ пушкиньянцевъ, каковы В. И. Саитовъ и В. Е. Якушкинъ.—Впрочемъ, послѣдній высказываетъ, не лишенное утѣшительности предположеніе, что означенная рукопись, быть можетъ, сохранилась у наслѣдниковъ барона Дельвига, къ коимъ перешли всѣ рукописи редакціи „Сѣверныхъ цвѣтовъ“, т. е. именно того журнала гдѣ былъ первоначально напечатанъ „Моцартъ и Сальери“.

Что-же до рукописи „Каменнаго Гостя“, находящейся въ Румянцевскомъ музеѣ, то, судя по описанію ея, сдѣланному тѣмъ-же В. Е. Якушкинымъ, никакихъ существенныхъ уклоненій отъ печатнаго текста въ ней не имѣется. (В. Е. Якушкинъ. „Описаніе рукописей А. С. Пушкина, хранящихся въ Румянцевскомъ музеѣ, въ Москвѣ“. „Русская старина“ 1884 г.).

XII.

ЦѢННЫЙ РОДСТВЕННЫЙ ОТКЛИКЪ.

(Стран. 159).

Вотъ точная копія съ любопытной справки по этому поводу, полученная нами отъ вышеупомянутаго „извѣстнаго профессора, дальняго родственника Боратынскаго“:

„... До какой степени многое для насъ, близкихъ къ тому времени, и къ тѣмъ людямъ, ясное становится современнымъ писателямъ непонятнымъ“—возмущается онъ—„вижу между прочимъ изъ статьи нѣкоего Саводника къ Баратынскому (Русск. Вѣстн. за 1900 г.). Тутъ прелестное стихотвореніе „Люблю я васъ, богини пѣнья“ приведено въ связь съ тупоумною статьею Бѣлинскаго о „Сумеркахъ“ Боратынскаго и статьѣ этой приписывается какое-то роковое вліяніе на поэта. Измышленіе это—совершенная нелѣпость. Боратынскій какъ и Пушкинъ цѣнилъ талантъ и умъ Бѣлинскаго, но приписывать имъ, что-либо похожее на позднѣйшее идолопоклонство передъ блестящимъ, но ограниченнымъ критикомъ—просто смѣшно. Статья Бѣлинскаго могла возбудить въ Боратынскомъ развѣ минутную досаду на непониманіе рецензента.

Вотъ подлинное происхожденіе стихотворенія: „Люблю я васъ, богини пѣнья“. Написано оно по поводу смерти Пушкина. Боратынскій былъ суевѣренъ. По его примѣтамъ всякій подъемъ вдохновенія предвѣщалъ ему бѣду. О смерти Пушкина онъ узналъ когда дописывалъ стихотвороніе „Осень“, коимъ былъ очень доволенъ и—прервалъ работу, пораженный ужаснымъ подтвержденіемъ своего

повѣрья. Послѣднія строфы стихотворенія не додѣланы и въ этомъ видѣ напечатаны. Жена поэта настаивала на окончательной отдѣлкѣ „Осени". Поэтъ отвѣчалъ стихотвореніемъ: „Люблю я васъ, богини пѣнья". Напечатано оно гораздо позже..."

Нельзя, однако, не оговориться, что вышепомянутая „тупоумная" статья Бѣлинскаго о сборникѣ стихотвореній Боратынскаго, возбудившая „традиціонное родственное негодованіе", совершенно сходится, въ своей сущности, съ отзывомъ Гоголя о Боратынскомъ въ извѣстномъ блестящемъ очеркѣ: „Въ чемъ же наконецъ существо русской поэзіи и въ чемъ ея особенность". Разница заключается только въ томъ, что Бѣлинскій высказалъ свой взглядъ на двухъ печатныхъ листахъ, а Гоголь умудрился уложить то-же самое въ четырехъ строкахъ, какъ разъ взятыхъ нами для эпиграфа.

XIII.

О ПОЭТИЧЕСКОМЪ ПОЗЕРСТВѢ БОРАТЫНСКАГО.

(Стран. 166).

Въ эпиграммахъ, посвященныхъ личности поэта Е. А. Боратынскаго, современникомъ его стихокропателемъ Борисомъ Федоровымъ, есть одна строфа, хотя плохая по формѣ, но довольно ехидно оттѣняющая эту поэтическую двойственность Боратынскаго:

„Въ элегіи, посланьи и романсѣ
Увялъ для жизненныхъ утѣхъ.

Honny soit qui maly pense—
Онъ въ людяхъ ѣстъ и пьетъ за трехъ!!."
(Русскій Архивъ 1901 г. № 2).

Эта слегка актерская черточка, повидимому, не укрылась даже отъ глаза П. А. Плетнева, несмотря на крайнюю привязанность послѣдняго къ Боратынскому. По крайней мѣрѣ, въ одномъ изъ писемъ къ Пушкину онъ роняетъ такія строки: „Къ Боратынскому ты слишкомъ пристрастенъ. Онъ любитъ играть словами. Въ слогѣ есть кокетство. Во многомъ Французъ... хотя люблю его до смерти! (1826 г.).

Это кокетство просвѣчиваетъ, надо признаться, не только въ слогѣ, но даже въ самой наружности Боратынскаго—въ чудесномъ портретѣ Брюллова, геніально тонко схватившаго эту натянутость меланхолической позы вполнѣ сытаго человѣка и счастливѣйшаго семьянина—типическое позерство весьма сродное меланхоліи Лермонтовскаго „Грушницкаго".

XIV.

ПРИМИРИТЕЛЬНЫЙ ОТВѢТЪ НА НАШУ СТАТЬЮ.

(Стран. 175).

Отвѣтомъ на эту нашу статью послѣдовала вторая статья „В. Б." въ Январьской книжкѣ Русскаго Архива (за 1901 г.), но уже болѣе примирительнаго характера. Авторъ на этотъ разъ подтверждаетъ фактъ охлажденія, происшедшаго между двумя поэтами (полагая косвенной причиной тому

супругу Боратынскаго, Настасью Львовну) слабо оспариваетъ безспорное матеріальное благоденствіе Боратынскаго и, въ концѣ концовъ, соглашается отнесть Боратынскаго какъ „художественное дарованіе“, къ типу Сальери.

Что, между прочимъ, и требовалось доказать!..

XV.

О МѢСТѢ ДЛЯ ПУШКИНСКАГО МУЗЕЯ И ПАМЯТНИКА ПУШКИНУ ВЪ С.-ПЕТЕРБУРГѢ.

(Стран. 186).

Заключительная статья настоящей книги вызвала въ свое время нѣсколько живыхъ откликовъ, изъ коихъ нельзя не отмѣтить любопытную замѣтку Дигаммы „О русскомъ литературномъ пантеонѣ“ (Нов. Вр. № 8721), таковую же Гр. Немирова „Зданіе для Историческаго Музея“ (Нов. Вр. № 8813) и своеобразный проектъ Кончака „Дворцовый Пушкинскій Мостъ“ (Нов. Вр. № 9093). Проектъ Кончака, основанный на сходномъ проектѣ Ломоносова о постановкѣ на каменномъ мосту черезъ Неву конной статуи Петра Великаго, вызываетъ на многія возраженія, кромѣ одной мысли, дѣйствительно существенной — о необходимости, вмѣсто нынѣшняго жалкаго деревяннаго моста по сосѣдству съ дворцомъ и великолѣпной набережной, соорудить новый каменный изящный мостъ. Сооруженіе же статуи Пушкина на самомъ мосту, въ немолчномъ сосѣдствѣ звенящихъ конокъ и шипящихъ автомобилей, едва ли желательно. —

Равно довольно гадательно мечтаніе г. „Дигаммы“ о централизаціи всѣхъ литературныхъ музеевъ.

Гораздо основательнѣе проектъ Гр. Немирова о превращеніи нынѣшняго зданія Биржи въ Историческій музей (вѣрнѣе—въ Пушкинскій музей, какъ совмѣстное отраженіе Пушкина и его эпохи). Практическія соображенія автора по этому поводу заслуживаютъ полнѣйшаго вниманія. Онъ не добавляетъ почему-то, при этомъ, что при подобной счастливой перемѣнѣ декораціи, предполагаемый грандіозный памятникъ Пушкину нашелъ бы себѣ, наконецъ, подобающій живописный уголокъ на берегу Невы... А давно пора!.. Иначе, на повѣрку выходитъ, что первый поэтъ земли Русской, пѣвецъ Петра и его „творенія“, точно Грибоѣдовскій Чацкій, до сихъ поръ не можетъ найти себѣ мѣста, „гдѣ оскорбленному есть чувству уголокъ“.....

PB-0006254-SB
513-23

PB-0006254-SB
513-23

Stanford University Libraries
3 6105 012 348 061

PG
3350
Z8L4

STANFORD UNIVERSITY LIBRARIES
CECIL H. GREEN LIBRARY
STANFORD, CALIFORNIA 94305-6004
(415) 723-1493

All books may be recalled after 7 days

DATE DUE

APR 27 1999
MAY 03 1999
JAN 05 2004
JAN 05 2004